

[Polaris]

ИВ. МОРСКОЙ



АНАРХИСТЫ БУДУЩЕГО
(Москва через 20 лет)

Фантастический роман

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCXIV



Salamandra P.V.V.

Ив.
МОРСКОЙ

АНАРХИСТЫ БУДУЩЕГО

(Москва через 20 лет)

Фантастический
роман

Salamandra P.V.V.

Морской Ив.

Анархисты будущего (Москва через 20 лет): Фантастический роман. Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 192 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCXIV).

Во имя идеалов свободы анархисты готовы на все. Их грозный воздушный корабль «Анархия» парит над Москвой, сея смерть и разрушения. Другие революционные партии готовят вооруженное восстание. Обезумевшие «охранители» отвечают кровавыми репрессиями и казнями без суда и следствия. Роман «Анархисты будущего» Ив. Морского (чье настоящее имя так и не было установлено), впервые вышедший отдельным изданием в 1907 г., называют «анархистским», «kadетским» или «обновленческим», но прежде всего, это мрачная антиутопия, героя которой оказываются между «жерновами истории». К изданию приложены некоторые посвященные роману материалы исследователей.

АНАРХИСТЫ БУДУЩЕГО

(Москва через 20 лет)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ

Был вечер 20 ноября 1927 года. Залитая волнами электрического света Москва казалась особенно оживленной. Вагоны метрополитена, вагоны трамваев, экипажи и автомобили пересекали во всех направлениях ее улицы. Тротуары были полны пешеходами; мальчишки-газетчики сновали между ними и громко выкрикивали сенсационные заголовки телеграмм:

«Победа анархистов в Риме...»
«Бегство социалистов из Америки...»
«Покушение на Бебеля в Берлине!..»

И в этом особенном нервном оживлении снующей толпы и в звонких выкриках газетчиков чувствовалось странное беспокойство, что-то тревожное и обманчивое.

А в витринах магазинов и на столбах красовались огромные афиши-плакаты, объявляющие о первом представлении на сцене Национального театра пьесы Леонида Андреева «Конец мира».

Драматическое искусство, опережая саму жизнь, вступало в новую эру, и в произведениях новых драматургов все сильнее и сильнее отражалось беспокойное ожидание неизвестного будущего. Художественный театр, свершив свое призвание для русской сцены, мирно сошел на нет, и теперь его место заняли два национальных театра.

О пьесе говорили давно; говорили вместе с тем, что на представлении вожаки крайних партий хотят устроить демонстрацию, что один из видных деятелей социал-демократии Максим Горький, о котором уже забыли, как о писателе, произнесет речь из ложи, что ему будут отвечать анархисты и что в театр назначен усиленный наряд полиции.

Может быть, будет брошена бомба.

Последнее обстоятельство привлекало любопытство публики столько же, сколько и пьеса. Оно придавало любопытству некоторую жгучесть, тем более, что бомбу бросить ни-

чего не стоило. Появились особенные бомбы, маленькие, величиной в орех или пуговицу, но разрушительное действие которых было ужасно. Главной составной частью в них был радий и еще одно вновь открытое вещество. Эти бомбы были бы совершенно незаметны, если бы не появилось изобретение, помогающее их открывать, основанное на сродстве радия с другим веществом. Уже за десять шагов этот аппарат показывал присутствие бомбы. Он был похож по форме на часы, и потому часто открывавшего на улице часы всегда принимали за сыщика.

Кроме того, пьеса появилась в очень тревожный момент конфликта десятой Государственной Думы с правительством, снова начавшим стремиться ввести ее к роли законосовещательного собрания. Кабинет из общественных деятелей с кадетом во главе, казалось, готовился принять решительные меры, до угрозы оружием включительно, а в Думе председатель Думы Аладын, лидер партии социалистов дедушка Горький и новой партии социалистов-христиан священник Петров громили кабинет своими речами.

Уже в газетах появились объявления разных предпринимателей из Гельсингфорса и Выборга, предлагавших для распущенной Думы различные помещения, а один из них предлагал еще кроме того типографию, литографию, фотографию и морской пароход для поездки в Англию.

Разрыв Думы с правительством был близок, и его боялись потому, что к моменту этого разрыва анархисты решили приурочить свое активное выступление в России. Последователей анархизма считали сотнями тысяч, и они, борясь против власти, сами уже представляли собой силу, т. е. ту же власть.

В воздухе висело ожидание новых, неизведанных еще событий. Ждали революции в Германии, где за власть боролись две партии: социалистов и анархистов, шли волнения во Франции, где недавно постоянная армия была заменена в виде опыта милицией, и в Австро-Венгрии, и в Турции, и даже... в Швейцарии.

Старая Европа трещала по швам. Близилось время полного общественного переворота, и от него спасались в Амери-

ку и Англию те, кто не ждал от этого переворота ничего хорошего.

В такой тревожный момент пьеса «Конец мира» была как раз вовремя.

Александр Васильевич Цветков, молодой человек лет двадцати семи, вышел из вагона воздушной железной дороги на станции «Театральная площадь» и не спеша спустился вниз по ажурной чугунной лестнице. Площадь была занята стоявшими и двигавшимися экипажами, а прямо против него Национальный театр сверкал электрическими огнями; на темном, почти черном зимнем небе горели светлые буквы, отпечатанные прожектором — волшебным фонарем:

«Национальный театр. Конец мира. Леонид Андреев».

— И вы в театр? — остановил Цветкова господин в цилиндре у ступенек с колоннами. — Здравствуйте!

Это был знакомый Цветкова, Сергей Петрович Пронский, сотрудник газеты «Республиканский дозор».

— Да, я приглашен в ложу, — ответил, здороваясь, Александр Васильевич.

— Интересный момент, — продолжал тот. — С часу на час ждем телеграммы о роспуске Думы, а настроение такое, как будто бы действительно конец мира...

Он красивым, немного театральным жестом указал вверх на светлые буквы на черном небе:

— Мани, текел, фарес...

— Однако, не слышно еще трубного звука ангелов, — пошутил Александр Васильевич.

— Да, но мертвые пробуждаются... Посмотрите, кого-кого теперь не вынесет наверх волна общественного движения оттуда, откуда мы и не ждали никакого звука, никакой жизни... Мы накануне удивительных событий. Сегодня анархисты выпустили манифест, что они подготовились к решительной борьбе...

— Они проиграют ее, — помолчав, сказал Александр Васильевич.

— Почему?

— Потому, что убеждения не навязываются путем силы и

давления, а свобода не завоевывается кровью и террором...

— Ну, мой друг, это не ново... Вы так и остались беспартийным, умеренным прогрессистом. Теперь не такое время, теперь даже нас революционеров, анархисты зовут мальчиками, а над богами социализма открыто посмеиваются. Это и понятно, раз сам Бебель на всемирном конгрессе социалистов в Женеве объявил, что социализм нужно подмолодить...

— А мне кажется, господа, что я лучше вас всех понимаю свободу, — возразил Александр Васильевич, — это уже потому, что у меня нет партийной непримиримости, которая кладет на все известный штемпель. Анархистам кажется, что венец человеческой свободы — это их учение, социалистам — социал-демократическая республика и социализация земли, вам — республика иных форм, а, по-моему, важнее всего освобождение человеческого духа и внутреннее совершенствование...

— Вы последователь Толстого?

— Вам непременно нужен авторитет?

В это время громовой голос раздался как будто бы с неба, заставив вздрогнуть от неожиданности разговаривавших и покрыв своими раскатами шум и звон оживленной площади:

— Конец мира. Пьеса Андреева. Представление скоро начнется!

— Это граммофон, — улыбнулся Александр Васильевич, — никак не могу привыкнуть к этим громоподобным голосам...

— Да, теперь, с помощью повышенного давления воздуха на пластинку, человеческий голос можно усилить в сто раз. Недавно на Театральной площади был митинг, на котором фонограф говорил речь петербургского оратора. Я был на Лубянской площади и слышал ее от слова и до слова! Видите, и технические усовершенствования ведут к ломке существующего строя и окончательному разрыву с прошлым. Конечно, будущее еще весьма загадочно. Но предвестники уже налицо.

Они вошли в театр.

II

Конец мира

Ярко освещенный электричеством зрительный зал был полон. Занавес, с изображенной па нем белой статуей Свободы, чуть заметно колыхался. Партер, ложи, галереи верхнего яруса — все было усеяно человеческими головами, лицами, плечами и спинами; на фоне ярких и цветных пятен дамских платьев скромно чернели сюртуки мужчин. Не было ни военных, ни полицейских форм. Представители и тех и других носили вне службы штатское платье, а порядок в театре поддерживался самой публикой и служителями театра. Полиция присутствовала, переодетая в штатское, и только на площади спешился отряд жандармов и стояли двое городовых в английских касках и с тростями, которые заменили прежние шашки.

Александр Васильевич вошел в ложу бельэтажа. Молодая девушка, сидевшая у барьера, блондинка с серьезным лицом и задумчивыми глазами, улыбнулась ему навстречу; рядом с нею сидела пожилая дама, вся в черном, а в глубине ложи — толстый, откормленный господин без бороды и усов, с брезгливым выражением на рыхлом лице.

Все трое составляли семью Синицыных.

Дисконтер когда-то, во времена молодости, Андрей Владимирович Синицын, учившийся в университете, сам называл себя хищником. Начавшееся освободительное движение заставило его перекочевать за границу, где он прожил несколько лет. Крупный собственник, он смотрел на новые общественные волнения с плохо скрытым презрением, которое выразилось и на его лице. И анархистов, и революционеров, и социал-демократов, и даже конституционалистов он называл общим именем революционной банды.

— Все это банда, — говорил он и собирался ехать в Англию, страну, которая давала приют как бежавшему от грядущих неприятностей из своей родины буржуа, так и спасавшемуся от администрации политическому преступнику и ох-

ранявшую собственное спокойствие и благополучие.

Его жена, Дарья Антоновна или Долли, как он ее называл, была ленивое и безразличное существо, не обращавшее внимания даже на собственную дочь. Анна Андреевна принадлежала к одной из фракций анархистов. Мечтательная и увлекающаяся, она верила, что только анархизм способен дать и обеспечить людям в полной мере свободу и счастье. Отец знал только, что Аня — революционерка. Но он не придавал этому особенного значения, твердо веря, что у Ани крепок «здравый смысл» и что она никогда не пойдет на крайний разрыв с семьей и обеспеченностью положения. Принадлежность же к партиям ответственности не влекла.

Александр Васильевич со всеми поздоровался.

— Пугают все, — небрежно заметил ему Синицын, намекая на пьесу. — Конец мира... Неизвестно, кто кому будет петь панихиду. На наших устоях мир просуществовал несколько тысяч лет...

— Ничто не вечно, Андрей Владимирович! — улыбнулся хорошо знавший его Цветков.

— Этот граммофон на крыше... Зачем они его заводят? — слабо проговорила Дарья Антоновна. — Я думала, не бомба ли уж?

— Никакой бомбы не будет, — нахмурилась Аня.

— Вы знаете, — обратилась она к Александру Васильевичу, — эти общественные басни и слухи могут создать своего рода психоз, который может подействовать на человека со слабой волей. Он возьмет, да и бросит бомбу.

— А я бы этого слабовольного на виселицу, — заметил, но все-таки понизив голос, Андрей Владимирович. — Не слабовольничай. Жаль, что смертную казнь уничтожили.

Аня вспыхнула и отвернулась. Последнее время она особенно как-то не могла равнодушно слышать слов отца, которые он произносил этим спокойно-презрительным тоном.

«Говорит так, точно честь этим делает, хоть и бранит все», — думала Аня.

— Вон Андреев, смотрите, — указала она Цветкову на сидевшего на противоположной стороне в глубине ложи бе-

нуара писателя. — А Горького нет?

— Он в Думе. Не может же он бросить свой пост! — ответил Александр Васильевич.

— А может быть, уже в Выборг уехал? — сострил Синицын.

— Я слышала, пьесу хотят освистать, — заметила Дарья Антоновна. — Будто бы, против нее духовенство...

— Может быть, известного направления, — ответил Александр Васильевич. — Видите, сколько и в ложах и в партере ряс?

— А им прежде нельзя было посещать театры? — спросила Аня.

— Нельзя. Это всего несколько лет. Вон видите, в той ложе, это викарный архиерей... При полной свободе совести всякие запрещения теряют смысл.

— Слушайте, правда, что в Москве существуют демонисты? Тайная секта демонистов? — спросила Аня.

— Сумасшедшие... время такое, — брезгливо процедил Синицын.

— Существуют. Полуофициально. Им не разрешают только построить храм, как, например, воздвигнут храм Чистому Разуму. В одном из переулков на Арбате у них тоже есть храм. В подвале. Их девиз, или символ веры: «Чем хуже, тем лучше». Очищение мира посредством зла.

— Вы меня сводите в этот храм? — что-то промелькнуло в лице Ани.

— Нужно устроить через знакомых.

— Хоть демонисткой-то не делайся, — шутливо, но все с той же брезгливостью бросил папаша. — Довольно с тебя и революции.

В этот момент прозвучал звонок. Электричество потухло. Наступила тишина.

И в этой тишине, откуда-то издали, из глубины закрытой еще сцены, раздался еще слабый, но становящийся все слышнее и слышнее гул, похожий на стон. В нем были и свистки машин, и крики боли, и стон непосильного труда, и рыдания горя, и безумный хохот — все это сливалось вместе, образуя этот и неясный и понятный гул.

Под этот гул раздвинулся занавес.

Огромный город, облитый красным светом потухающей зари. На него глядит свинцовое, холодное небо; море, такое же безжизненное, как и небо, у его ног; бесконечная пустота и вверху и внизу. В этой пустыне цепенеет мысль. А в городе огни. В нем жизнь. Работают фабрики, в домах не спят еще люди. Все они придавлены беспощадной, тяжелой, бессмысленной жизнью, в которой каждый кричит от своих страданий и вместе с тем наносит страдания другому. Рядом кладбище. На нем тяжелый угрюмый сумрак.

И над всем этим стоит многотысячелетняя скорбь мира. Людская скорбь. И страшно, и неизъяснимо печально ее лицо, и тянутся к небу изможденные, исхудалые руки, требуя ответа на страстные мольбы.

Одна только теперь мольба на устах скорби:
«Довольно!»

Артисты-люди ходили, говорили, садились и опять уходили, но над всем действием нерушимо и преобладающе стоял его смысл, в котором была главная цель автора.

И когда занавес медленно закрыл от глаз зрителей мрачную картину Молоха-города и вспыхнуло снова электричество, в театре сначала была полная тишина.

— Масон! — бросил из средних лож чей-то старческий сердитый голос.

И, словно ожидавший какого-нибудь внешнего толчка, театр разразился рукоплесканиями.

Театр наполовину опустел. Зрители разбрелись по фойе, коридорам и лестницам. Наступил тот антрактный шум и движение, которые сменяют тишину действия на сцене.

В ложу Синицыных вошли два господина. Один из них был знаком Александру Васильевичу — это был граф Дюлер, потомок французских выходцев, но с традициями доблестного старого крепостника, непостижимо живущими в российском воздухе. Шестьдесят пять лет тому назад пало крепостное право, у графа не было ни клочка земли, десять лет, как миновала реформа нового крестьянского землеустройства, и граф по-прежнему брызгал слюной на всех деятелей и на все акты освободительного движения, начиная с 1861

года, и упрекал в измене традициям России самого Александра II. Двадцать лет тому назад имя его красовалось в центре черносотенных организаций, теперь он был член монархической партии, весьма слабо проявлявшей свое существование и неспособной к влиянию на выборах.

Теперь на лице его сияла торжествующая улыбка.

— Увидал вас в ложе, Андрей Владимирович, и счел долгом зайти, — проговорил он. — Ведь конец мира. Когда теперь увидишься? — скаламбурил он. — Вы не знакомы? Позвольте вам представить моего спутника. Будущий наш пророк. Делаем его редактором газеты...

— Комиссаров, — отрекомендовался тот.

— Пойдемте, — толкнула слегка Александра Васильевича Аня.

Она поднялась и вышла, кивнув головой на поклон графа. Александр Васильевич вышел за нею.

— Вот она, нетерпимость-то, — заметил он ей, улыбаясь.

— От людей крайних правых сейчас и скок.

— Нет, не то, — слегка нахмурила она брови. — Конечно, нужно уважать чужие убеждения, но этого графа я выносить не могу. А о том... я что-то читала в историческом журнале. Нехорошее... Надо будет справиться.

— Сделать розыск?

Она смешалась.

— Вот вы всегда так! Помните, теперь время военное; идеалы свободы еще впереди, и нельзя относиться безучастно к врагам.

— Но ведь и меня тогда можно причислить к вашим врагам. Я беспартийный...

Она улыбнулась.

— Вы дикий, но я не теряю надежды сделать из вас анархиста. В вас много для этого задатков.

Ему была приятна эта мгновенно проявившаяся в ней женственность, ее улыбка и даже то, что она считает его почти «своим» по убеждениям.

«Она мне нравится», — подумал он. Но из чувства мужской осторожности постарался сейчас же заглушить эту мысль и спросил:

— Какие же задатки, Анна Андреевна?

— Прямота, самостоятельность, любовь к свободе... и еще... все, кажется, — ответила она, слегка смешавшись. — Еще то, что вы даже партийной дисциплины не хотите признавать.

Он засмеялся.

— А сами зовете меня в партию!.. Куда это летит Пронский? Сергей Петрович! — окликнул он.

— Ну что? Какое впечатление? — спросил тот, здороваясь с Аней. — Я не могу еще разобраться... Что-то ужасно сложное и психологически тонкое. Как выразился один критик, чтобы сразу понять эту пьесу, нужно сначала сойти с ума, и тогда все станет ясно. А вы знаете, что дальше будет? Ходите, расскажу? — И, не дожидаясь ответа, проговорил так же быстро: — Разлад человечества с самим собой. Недостижимость идеала. Революция на Земле и революция, то есть изменение законов тяготения, в сфере. Гибель Земли. Но ее гибель дает жизнь новой планете, на которой через несколько тысяч лет, а, может быть, и десятилетий начнется новая жизнь, не похожая на нашу. Мы ее увидим на сцене.

— И каждый поймет по-своему, — заметил Александр Васильевич. — Анархист, — как царство анархии... Все-таки царство, — заметьте это, Анна Андреевна. Социал-демократ — как... и так далее. Может быть, только граф Дюлер ничего не найдет для себя подходящего.

— Конечно, это будет царство анархизма, — улыбнулась Аня и прибавила, смеясь: — И я «царство» сказала.

— Все равно! на земле царит и, вероятно, долго еще будет царить телец златой! — махнул рукой Пронский.

.

Спектакль кончился. Долго не смолкали рукоплескания. И когда они, наконец, смолкли, чей-то густой и громкий голос явственно произнес с галереи верхнего яруса:

— Да здравствует анархия!

И эту фразу подхватили громкие сочувственные крики.

После спектакля вся компания — Синицын с женой и граф Дюлер с Комиссаровым — поехали, по старой москов-

ской привычке, ужинать в ресторан. Аня отказалась ехать, ссылаясь на усталость и головную боль. Проводить ее домой вызвался Александр Васильевич.

Они пошли пешком. Несмотря на поздний час ночи, улицы были полны народа. С жужжанием проносились вагоны воздушной дороги, шипели автомобили и звонили вагоны трамвая.

Из окна здания «Метрополя», где помещалась редакция газеты «Ночная почта», тянулся к небу светлый луч, и на небе яркими буквами резала глаза роковая фраза:

«Час тому назад депутаты разогнаны силой».

— Думы нет, — сказал он, указывая Ане на эту фразу.

— Я не воображала, что это будет так скоро. Может быть, это начало конца, — сказала серьезно Аня.

— Конца мира? — пошутил он.

— Старого, — ответила она серьезно.

— А вы знаете, мне иногда жаль старого мира, — впадая в ее тон, заметил Александр Васильевич. — Конечно, не бесправия, не произвола, — поспешил он объяснить, увидав в ее глазах удивление, — а старого спокойствия. Жизни для жизни. Как бы вам это объяснить? Вы знаете, что я дикий, как это ни странно в наше время, когда все разделились на партии. Как только я стал сознательно относиться к жизни, меня окружила атмосфера политики. В ней я рос, и теперь вокруг все одно и то же. Дайте же отдохнуть, пожить настоящей жизнью.

Они входили в эту минуту в Александровский сад, тихий и сумрачный, слабо освещенный редкими электрическими лампочками. Недвижно стояли старые деревья, опущенные легким инеем.

— Какой жизнью? — удивилась она.

— Простой... Вот как живут эти деревья, этот снег... Не вертесь на раскаленных угольях политики.

— Мне кажется, что я понимаю вас, — сказала она, подумав. — Сначала это может показаться смешным, что человек отказывается от мысли, от участия в своей судьбе, от всего, что дает политика. Но в ней человек может почувствовать себя несвободным. Так я вас поняла?

— Да, да! — ответил он радостно.

Но она продолжала совершенно неожиданно для него:

— Знаете, это в вас, бессознательно еще, говорит анархизм!

Он удивленно посмотрел на нее.

— Всякий человек, по большей части, по своей природе анархист, — серьезно добавила она. — Только жизнь втискивает его в те или иные рамки, и он привыкает к ним.

В Кремле мелодично зазвонили колокола.

— Старые звуки, — задумчиво произнес Александр Васильевич. — Вот так они звонят много лет, а какие перемены произошли под этот звон. И теперь мы опять на границе новых перемен. Самое быстрое на свете, — это человеческая жизнь. Но следы ее вечны. Да, они вечны!

Он проводил Анию до одного из переулков Пречистенки, где стоял их дом, и простился с нею на крыльце.

— Заходите к нам чаще, — сказала Аня. — Может быть, мне придется обратиться к вам за советом. Не знаю почему, но мне кажется, что из всех знакомых я больше всех могу рассчитывать на вас...

— Ради Бога, — ответил он вполне искренне.

Они крепко пожали друг другу руки.

III

Волнения

На другой день газеты были полны подробностей о роспуске Думы. Так как депутаты не пожелали уйти из здания добровольно, туда были введены войска. Тогда депутаты уступили силе и удалились, предварительно заявив протест. Председатель Аладьин не пожелал встать со своего кресла, и его на кресле торжественно вынесли на улицу, где он встал и потребовал себе пальто.

Ему принесли и пальто и шляпу.

Представители крайних партий собирались в частном доме, на Песках, а кадеты, по обычаю, отправились на финляндский вокзал. Но движение поездов было остановлено, и уехать им не удалось.

Премьер-министра приезжали поздравлять с удачным окончанием сложного дела, но в Петербурге, в чиновничих кругах, уже все были уверены, что решить дело было очень просто.

— Разрешить его так мог бы любой околоточный.

Но и те, кто поздравлял, и те, которые говорили, не знали, что вопрос не окончен, а только начинается.

По всей России начались митинги. Полиция разгоняла их, но, разогнанные в одном месте, они собирались в другом. Образовались невидимые митинги переговорщиков по беспроволочному телефону, снабженному микрофоном с рупором. Прибор, поставленный в комнате, отчетливо передавал слова, произнесенные перед другим прибором, с одного конца Москвы на другой и даже из города в город. Составлялись митинги, участники которых находились в один и тот же час в Петербурге, Москве, Рязани, Новгороде, Киеве и других городах.

Можно было бы видеть какого-нибудь горячего оратора, раскрасневшегося и жестикулирующего перед прибором совершенно одиноко в своей комнате.

Полиция ухитрялась прерывать эти митинги с помощью своих аппаратов, вмешивалась в прения, путала их, записывала стенографически речи, но прекратить эти митинги не могла.

Бывали случаи, что социал-демократический оратор, жестикулировавший и горячо доказывавший свои взгляды перед аппаратом, вдруг совершенно неожиданно получал от него:

— Все это вздор и ерунда!

— Откуда возражают, товарищ? — недоумевал оратор, находящийся в Москве.

— Из Киева. Товарищ, — да не твой.

— Кто говорит? — уже озадаченно спрашивал оратор.

— Агент охранного отделения.

И аппараты замолкали.

Появились аппараты, бравившиеся неприличными словами, и участники «одиночных собраний» всегда должны были находиться в приятном ожидании получить комплимент.

Появились слухи о возможности введения военного положения и о запрещении установки в частных домах аппаратов беспроволочного телефона. Это техническое усовершенствование сбивало с толку и с ног полицию.

В день распуска Думы на анархистов ополчились две старые московские газеты: «Русские ведомости» и «Московские ведомости». Последнюю газету редактировал Бартеев, двадцать лет тому назад бывший членом московского комитета по делам печати. Газета требовала смертной казни анархистам и введение военного положения; приводились выдержки из их манифеста. Грингмут, принявший монашество и находившийся в Почаевской лавре в сане архимандрита, прислал по телеграфу свое благословение.

«Русские ведомости» писали: «Государственная Дума разгнана, и теперь, более чем когда-либо, мы должны быть настороже гражданской свободы. Но мы не должны увлекаться и дать себя завлечь представителям крайних анархистских партий, видящих в данном моменте удобный случай. Мы согласны теоретически считаться с анархизмом, но не можем не осуждать его призывов к пролитию крови».

Смертной казни анархистам здесь не требовали.

Театральная площадь была запружена народом, который тщетно старались рассеять чины полиции в касках и с тростями. Они не запрещали митинга, но не разрешали «занимать площадь и мешать по ней движению».

— Казаков бы сюда, — говорил старый полицейский чин другому. — Живо бы...

— Будут и казаки, — утешал его тот.

В толпе во многих местах странные личности то и дело «смотрели часы», а в одном месте полиция арестовала-таки анархиста, который требовал «отмены законов, потому что из них вытекает произвол». Толпа слушала его, а потом слушали оратора-трудовика, который видел проявление особо-

го гражданского мужества в том, что председатель заставил вынести себя на улицу в кресле.

Аня утром сказала Цветкову по телефону, что будет на митинге, но Александр Васильевич тщетно искал ее в пестрой толпе, запрудившей площадь. Раздавались прокламации различных партий и отдельные номера газет, некоторые из которых вышли только сегодня. Пестрели названия: «Анархист», «Борьба», «Динамит», «Пролетарий» и другие.

Местами над головами толпы колыхались красные, черные и зеленые знамена.

У ступеней фасада Национального театра какой-то бледный господин, сидевший на плечах двух дюжих рабочих, говорил речь.

— Товарищи! — кричал он хриплым голосом. — Сегодня у нас нет настоящего правительства! Сегодня мы делаем первый шаг к осуществлению нового свободного строя, имя которому — анархизм. Что же такое анархизм?

— Законы хает... Известно что! — заявил рядом с ним человек в чуйке. — Долой его! — И закричал, приставив руки к губам рупором: — Да здравствует конституция!

— Ура! — кричали где-то в отдельной кучке.

— Анархизм, в противоположность социализму, — кричал бледный человек, — направлен против принудительного порядка вообще! Но это не значит, что анархизм идет против всякого порядка... Естественная свобода и гармония человеческой жизни...

Ему не дали продолжать, потому что в кучке собравшихся людей возле него были ораторы из других партий, и здесь скоро заговорил социал-демократ.

Здесь Цветков случайно столкнулся с Аней. Она была возбуждена. Глаза ее блестели.

— Вот где сила! — сказала она, восторженно показывая рукой на толпу. — Сегодня иначе дышится! Сейчас какой-то студент говорил речь, цитируя ее стихами из «Бури»...

В это время в толпу медленно въехал автомобиль, на котором блестел рупор граммофона. И тотчас раздались громоподобные звуки. Читалась целая прокламация анархистов, призывающая к вооруженному восстанию. Ненавидя наси-

лие, вожди партии допускали его для завоевания действительной свободы.

— Но ведь это компромисс! — сказал Ане Александр Васильевич, но она ничего не ответила ему. Жадно, раскрасневшись, она слушала эти громоподобные слова.

На автомобиль, взявшись за руки, дружно и энергично надвигался отряд полицейских, человек в десять, но толпа окружила его кольцом и не допускала. Тогда те пустили в ход палки. Их отняли и переломали.

Митинг окончился сам собой.

Проводив Аню домой, Александр Васильевич вернулся к себе с целью заняться делами. Он был юрист и вел дело одного торгового общества. Но деловые мысли не шли в голову. Он думал об Ане.

— Она мне нравится. Правда, я не чувствую себя сумасшедшим от любви, но это любовь, несомненно. И что лучше: страсть или привязанность? Но ее нужно заставить выйти из партии. Непременно. И чем скорее, тем лучше.

Эта мысль успокоила его. В успехе он не сомневался.

В тот же день анархистами была брошена первая бомба в полицейский участок. Пострадали два дворника, сторож, околоточный и четыре писца. Пьяного, сидевшего за решеткой, разорвало на части, равно как и бомбометателя.

Это был первый удар.

IV

Тревога

Кабинет начальника охранного отделения представлял из себя целую физическую лабораторию. И на столе и на стенах помещались особенные приборы с небольшими экранами, на которых, посредством электричества и опять того же радиа, можно было видеть происходившее на расстоянии. Аппараты беспроволочного телефона позволяли все слышать. Начальник охраны мог, сидя в своем кабинете, наблю-

дать за всем городом. Этими приборами были соединены с охранным отделением все общественные места, гостиницы и даже частные квартиры, за которыми устанавливалось наблюдение. Для этого, по соглашению с хозяином дома, в квартире производился ремонт, и где-нибудь, у крючка для лампы, у отдушника печи, незаметно закладывался особый электрорадиальный элемент. Не нужно было никаких проволок, и жители квартиры, сами того не зная, оказывались в фонаре, а за интимнейшими подробностями их жизни следило недреманное око.

Само собой разумеется, что крайние партии не так-то легко попадались в западню и, заняв квартиру, прежде всего производили в ней тщательный ремонт и обыск. У обеих сторон было одинаковое оружие.

Сегодня работали почти все аппараты. Сам начальник сидел за столом, а за особыми кабинками помещались его помощники. Пускавшиеся в ход телефоны-фонографы то и дело бросали в воздух фразы и крики с металлическим оттенком, который придавал человеческим голосам рупор. Тут были и отрывки речей ораторов, и революционные песни, и просто городской шум, и музыка, игравшая в каком-то дневном театрике.

— Настроение резко меняется, — заметил один из помощников. — Идет огромный митинг на фабрике Прохоровской мануфактуры.

Он нажал кнопку, и на экране тотчас обрисовались кирпичные стены фабрики и закопошились маленькие фигуры людей, занявшие весь двор. Раздалась речь оратора.

Начальник досадливо махнул рукой:

— Бросьте вы социал-демократов... Нам нужно следить за анархистами. Опасность с их стороны... Поняли?

Голос социал-демократа оборвался; погасла картина на экране. Чиновник казался сконфуженным.

— Об этом митинге я знал еще вчера, — уже легче заметил ему начальник. — Там есть кому следить.

— Конспиративная квартира № 177, — заявил другой помощник. — Аппарат работает.

— А, вот это интересно, — заметил начальник. — Это

анархисты. Жаль, что с этим номером нет телефонного сообщения... Ну, ничего, посмотрим.

Он подошел к экрану, возле которого стояли уже трое агентов.

Перед их глазами была небольшая комната, в которой, вокруг стола, сидели шесть человек. Двери были закрыты, на окнах спущены толстые занавески, и потому горела электрическая люстра.

— Надо непременно устроить телефонное сообщение с этой квартирой, — нахмурившись, сказал начальник. — Знаете ли вы собравшихся?

— Трое неизвестны. Очевидно, это приезжие, — ответил один агент. — Завтра мы будем знать, кто они такие. Остальные известны: двое студентов и дочь Синицына, Анна Андреевна...

— Гмм... Дочка Андрея Владимировича?

— И недурненькая, — осторожно заметил другой агент.

— От такого-то богатства, — вздохнул третий, — да в анархизм! Жить бы в свое удовольствие...

— Над всеми этими лицами установить наблюдение, — оборвал этот разговор начальник.

У генерал-губернатора был в это время с докладом градоначальник.

Генерал-губернатор, из строевых генералов, назначенный в эпоху либеральных веяний, когда достигнутые порядок и спокойствие казались прочными, смотрел на свою должность, как на почетную синекуру, и сильно был взволнован тревожным моментом и словами градоначальника. Последний, из армейских офицеров, начал свою карьеру двадцать лет назад, вызвав на дуэль думского депутата, и тем обратил на себя благосклонное внимание. Во всяком случае, это был человек энергичный и честолюбивый. Нерешительность генерал-губернатора казалась ему непростительной.

— Военное положение необходимо. Я еще раз докладываю об этом вашему высокопревосходительству и о том же говорил сегодня по телефону в разговоре с министром.

— И взгляд министра на это?

— Мое мнение таково, что военное положение будет

введено по всей России, — пожал плечами градоначальник.

— Значит, это пойдет помимо меня?

— Важно, чтобы в Москве военное положение было объявлено как можно скорее, — внушительно заметил градоначальник. — Центральная организация анархистов не в Петербурге, а здесь. Необходимо изъять из употребления беспроволочный телефон.

— Итак... это необходимо, — проговорил генерал.

— Этого требует благо России, — внушительно заметил градоначальник.

Этот разговор велся вдвоем, с глазу на глаз, но тем не менее, скоро во все газеты проник слух, что в Москве будет введено военное положение. Всеми крайними газетами обоих направлений этот слух встречен был с радостью, конечно, противоположного свойства.

— Итак, война объявлена! — радостно приветствовал этот слух «Динамит».

Газета «Борьба» свой лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» напечатала красной краской.

Александр Васильевич два дня не мог встретиться с Аней: он два раза был у Синицыных и оба раза не застал ее дома. Его начинало беспокоить это отсутствие.

— Куда может бросить ее это увлечение? — думал он. — Она способна на самопожертвование в своем порыве.

Ему вспомнилось прекрасное стихотворение в прозе Тургенева, посвященное русской женщине:

«И тяжелая дверь захлопнулась за нею».

— Неужели она захлопнется и за Аней?

Он нервничал, пробовал было себя убедить, что ему нет никакого дела до этой девушки с синими задумчивыми глазами, но тотчас же это лицо с синими глазами воскресало в памяти, и мысли принимали другое направление: в них была она.

Это было мучительное состояние. На него находили минуты, когда он мог бы обрушиться на нее с резкими упреками, с горькими словами, а за этими минутами приходили другие, когда он мог бы расплакаться, встретив ее.

Александр Васильевич сидел дома. Его никуда не тянуло.

Безмолвный телефон, висевший у него в кабинете, дразнил его. Аня часто говорила с ним по телефону, и вот уже два дня нет призывающего звонка.

Раздался звонок в прихожей. Он вздрогнул. Неужели Аня? Она иногда навещала его экспромтом. Но это была не она, а Пронский. Он был весел и оживлен.

— Заваривается каша! А вы хандrite? — весело заговорил он, усаживаясь к столу. — В такое кипучее время — и хандриты! Вот что значит не принадлежать ни к одной партии!

— Вот эти-то партии мне и надоели, — желчно заметил Александр Васильевич. — Раскололась вся жизнь.

— Относитесь к жизни объективнее и наблюдайте. Ведь так много нового и интересного. Вот хотите, съездимте вместе к масонам. У меня там есть знакомые...

— А вы к демонистам имеете доступ?

— Могу найти...

— Так вот, устройте нам вход вдвоем.

Он вспомнил... Об этом просила Аня.

— Хоть бы женщины не втягивали в эту борьбу, — с досадой проговорил он.

— Ого, какой вы ретроград! Да вы знаете, что роль женщин в освободительном движении ничуть не ниже мужской... Женщины прямолинейнее, а потому, может быть, и смелее. Вспомните, сколько женских жизней унесло и освободительное движение и так называемая «эпоха русского парламентаризма».

Опять раздался звонок. На этот раз это была Аня. Не снимая верхней кофточки, она быстро вошла в комнату.

— Вы сердитесь? Да? — сказала она Александру Васильевичу, крепко пожимая ему руку. — Сама звала вас и сама же пропала? Здравствуйте, Сергей Петрович, — поздоровалась она с Пронским.

Тот с улыбкой смотрел на перемену, происшедшую с Александром Васильевичем.

«Влюблен, влюблен, как мальчик», — подумал он, фразируя Онегина.

Аня, не снимая кофточки, присела к столу.

— Я потом все вам расскажу, — заговорила она. — Не

было ни минуты свободной. Вчера даже не ночевала дома. Понимаете, работы теперь по горло...

Александр Васильевич любовался ее оживлением.

— Бросьте вы ваших анархистов, — сказал он тихо.

— Бросьте?.. Но к кому же идти? К тем, которые только играют словами, но не способны ни на настоящую борьбу, ни на самопожертвование? Или к тем, которые еще верят, что приведут родину мирным путем к «возможному преус-пянию»? Полноте! Те, которые жаждут настоящего дела, все давно уже отшатнулись от них влево.

— Так ли это? — спросил он тихо...

• • • • • • • • • • • •

Аня засиделась, хотя и говорила, что торопится домой.

Пронский ушел, обещав устроить посещение храма демонистов. Спохватилась и Аня.

— Так поздно! Нужно идти домой!

— Я вас провожу, — предложил он.

— Нет, не нужно. Садитесь и работайте. Вы сегодня кислый.

— А вы меня не мучьте, — вырвалось у него полуушутливо, полусерьезно.

— Я? Вас?

Она поняла и слегка покраснела.

— Не говорите глупостей. Человек мучит себя только сам. Вот так! Будьте паинькой!

Она сбежала с лестницы и крикнула ему уже снизу, с полуосвещенной площади:

— Позвоните мне завтра в телефон!

Дверь хлопнула. Она ушла.

V

Разрыв

В великолепно обставленном кабинете Андрея Владимировича Синицына сидел граф Дюлер. Оба курили сигары.

— Слава Богу, наконец-то введено военное положение, — говорил граф. — Теперь будет хоть какой-нибудь порядок. Я всегда говорил, что виной всему и у нас, и в Европе — это парламентаризм, а вовсе не обострение социальных условий. Теперь всячому хочется если не в министры, то хоть в депутаты... С суконным рылом в калашный ряд...

Он тихонько засмеялся, наблюдая, какое впечатление произвели на хозяина его слова.

Тот молчал.

— На все успели насмотреться, — продолжал граф. — Были и у нас министры из купцов, председатели Думы — из наборщиков, городские головы — из рабочих... Чего еще нам нужно? Я сам, по убеждениям, больше демократ, но нельзя же на все класть грязную лапу. Западноевропейские говорильни тоже доказали свою несостоятельность. Это очевидно. Потому-то я и говорю, уважаемый Андрей Владимирович, что все наше спасение в возвращении к старому режиму, конечно, с некоторыми изменениями...

— Как же вы этого добьетесь? — спросил Андрей Владимирович. — Двадцать лет вы, господа, не могли выбиться из третьих и даже четвертых ролей.

Графа немного передернуло.

— Потому что правительство было обмануто кадетами. И вот видите, к чему это привело: к анархии! Теперь правительству можно опереться только на нас... Если и новая Дума окажется такой же, какими были десять первых, то так называемой русской конституции скажут аминь.

— Но зачем же тогда объявлены выборы через пять месяцев?

Граф пожал плечами.

— Еще один, последний опыт. Я глубоко верю, что все спасение России — это возвращение к старому режиму. Всякий сверчок должен знать свой шесток. Страна — это фабрика; государственность — это внутренний на ней распорядок. На фабрике должен быть хозяин, директора, бухгалтеры, конторщики, сторожа и мастеровые, приставленные каждый к своему рычагу. Фабрика станет, если все мастеровые захотят в директора. Это — абсурд. Так и в государстве.

— Это я понимаю, — слегка улыбнулся Андрей Владимирович.

— Тогда идите к нам! — воскликнул граф. — Мы за порядок, а вы, Андрей Владимирович, вы — один из представителей той силы, которая до сих пор может двигать горами.

— Это вы насчет денег?

— Без них ничего не сделаете.

Андрей Владимирович помолчал.

— Денег я вам, пожалуй, дам, — сказал он, наконец, — немного... пока.

«Дашь много», — подумал граф. — Я еще тебя удивлю».

Он молча, в знак благодарности, наклонил голову... И продолжал:

— Я оптимист. Это спасало меня в минуты поражений. Двадцать лет поражений. Но теперь я смотрю на начавшуюся смуту глазами полководца, который долго отступал. Анархия, — это наша союзница. Она уничтожит все и поглотит самое себя.

Останемся только мы. Я верю в общемировую роль России. Она призвана спасти Европу от этой гидры.

Во Франции опять будет король, — продолжал он почти с пафосом. — Какой музыкой звучат эти слова: при французском королевском дворе! Маркизы... старый Тюльери...

Он полузакрыл глаза. Он мечтал.

— Ну что же, начинайте! — сказал Андрей Владимирович не то сочувственно, не то презрительно.

— И начнем. У нас найдутся люди. Нашим союзником будет даже Дух земли, который даст нам миллионы крестьянства...

— Это как же? — удивился Синицын.

— Очень просто: мы припугнем мужичков наделением евреев землей.

— Ловко, — сказал, помолчав, Андрей Владимирович.

— Всякое оружие хорошо в борьбе! Ведь эта гидра разрушает даже семью. Я должен вас предостеречь, уважаемый Андрей Владимирович: ваша дочь...

— Что? — отрывисто спросил Синицын.

— Она под наблюдением охранного отделения. Я знаю это из верных источников. Она принадлежит к опасной фракции анархистов... Ее могут арестовать.

Синицын был поражен. Он сам называл свою дочь революционеркой, но, откровенно говоря, был убежден, что это все наносное, жертва моде, и у Анны природный здравый смысл не допустит ее впасть в ошибку.

— Анна — анархистка?

— Увы! — вздохнул граф. — Кто не делает ошибок в молодости!

Синицын был спокоен, но в нем поднималось холодное и жесткое чувство против дочери.

Аня была дома вечером, когда в комнату вошел отец.

Он никогда почти не заходил к ней: холодное отношение к домашним было отличительной чертой Синицына; с дочерью он был всегда далек.

Аня читала книгу и удивленно взглянула на отца.

Тот подвинул стул и сел.

— Я должен с тобой поговорить, — сказал он. — Про тебя идут дурные слухи.

— Дурные слухи... Про меня? — покраснела Аня.

— В один прекрасный день тебя могут арестовать. Согласись, что это не доставит особенного удовольствия ни мне, ни матери.

Аня молчала.

— Я не вмешивался до сих пор в твои убеждения, надеясь на твой здравый смысл. Но оказывается, что я слишком понадеялся. Ты скомпрометировала себя, связавшись с этими анархистами. Я не понимаю, чего тебе нужно? — продолжал он, с недоумением разводя руками. — У тебя прекрасная комната, электричество, все нужное и пятьдесят руб-

лей в месяц на карманные расходы! Ты не подумала, что можешь лишиться всего этого?

— Да... я не думала, — вся пунцовая, ответила Аня.

— Именно, ты можешь лишиться. В первый раз я пользуюсь правом отца и запрещаю тебе всякую политику!

— Это насилие! — вырвалось у Ани.

— Что?! — нахмуря брови, произнес Синицын.

— Я не согласна. Я уеду от вас! — твердо произнесла Аня.

Глаза их встретились, но Аня не опустила своих.

«Решительный шаг! Свобода!» — проносились в ее голове обрывки мыслей.

Синицын пожал плечами, встал и вышел.

«Одумается», — решил он. Он все еще надеялся на «здравый смысл» Ани.

Через полчаса в квартире Александра Васильевича затрещал телефон. Цветков сразу узнал голос Ани.

— Меня выгнали из дома. Полный разрыв, — говорила она. — Отец уехал, а мама плачет и заперлась. Впрочем, может быть, теперь и не плачет. Можно мне со всем моим скарбом приехать пока к вам, а потом мы вместе пойдем искать мне комнату?

— Располагайте мной и моей квартирой, как вам угодно! — ответил он. — Жду!

И поймал себя на том, что беда Ани лично для него — счастливое происшествие.

VI

Среди «настроений»

На другой день Аня жила уже на «собственной» квартире. Это была маленькая комната в одно окно, в которой едва устанавливались комод, кровать, стол и три стула. Александр Васильевич пришел в ужас от этой комнаты, но Аня настояла на том, чтобы ее нанять. Комната по существующим ценам стоила недорого, всего двадцать рублей, хотя

была в восьмом этаже. Впрочем, подъемная машина заставляла не замечать этой вышины.

Зато из окна открывался великолепный вид на Москву во всем ее смешении современности с остатками старины и башнями Кремля, точно часовыми вокруг старинных соборов и дворца императора.

Рядом с комнатой Ани жил другой квартирант, пожилой человек, который открыл дверь и с любопытством смотрел на новые лица.

— Это наш Максим Максимович, — назвала его хозяйка квартиры. — Он немного нездоров, но это чудеснейшая личность.

Она тихонько показала Александру Васильевичу на лоб. И когда они втроем стояли у окна, любуясь видом Москвы, Максим Максимович тихонько вошел в комнату и представился, пожав руки Ане и Цветкову.

— Отставной капитан Лапшин... Болен родиной...

Александр Васильевич только теперь рассмотрел его лицо, желтое, изможденное, с лихорадочно блестящими глазами.

— Нанимаете комнату у Дарьи Яковлевны? — спросил Лапшин. — Отлично. Будем жить по соседству. Вместе ждать общей гибели...

— Да будет вам, Максим Максимович, — шутливо заметила ему хозяйка, — с вашей-то гибелью!

— Все погибнем, Дарья Яковлевна, все! Не на кого опереться родине! — торжественно заговорил сумасшедший. — Нет у нас ни одного класса, ни одного сословия с потребностью созидать, а не разрушать! Народ... он испорчен снизу и доверху! Мы — вырождающаяся нация! Что у нас? Одни стихийные взрывы! И будет общий стихийный взрыв, и все погибнет. Все! Конец мира!

Он протянул вверх руку, и эта рука тряслась, а на глазах показались крупные слезы.

Хозяйка увела его из комнаты.

— Анна Андреевна, здесь вам нельзя оставаться, — сказал Александр Васильевич. — Этот сумасшедший...

— Хозяйка мне говорила, что он очень тихий, — отве-

тила Аня. — Беспокоить он меня не будет. Наоборот, это будет создавать известное настроение, будить энергию.

Александр Васильевич не стал спорить. Комната была нанята.

Прошло несколько дней. Александр Васильевич почти каждый день бывал у Ани или она у него. Несколько раз они вместе обедали. В нем все более и более крепло чувство привязанности.

Но после того полунамека, полуобъяснения, когда он провожал Аню из своей квартиры, Александр Васильевич ни разу не обмолвился о своем чувстве. Между ними установились простые, братские отношения. Вместе с нею Александр Васильевич чувствовал себя легко и спокойно, но зато у себя, в одиночестве, его все чаще и чаще начало посещать мрачное настроение. Тогда он вспоминал Максима Максимовича и его слова об общей гибели.

— Не схожу ли я с ума? — иногда с ужасом задавал он самому себе вопрос. Ему начинало иногда казаться, что и вокруг все сумасшедшие. Он просматривал газеты всех направлений, и в этом хаосе различных статей и возвзаний, во всей этой партийной тактике открывал одно общее, что связывало вместе всех этих пророков и политиков разной окраски.

Это общее — было настроение тревоги.

«Все говорят об общем благе, — думал Александр Васильевич, — и у всех оно различно. Общее благо никогда не будет действительно «общим». Теперь нужна была бы беспартийная газета, высоко поставившая обновление человеческого духа и уважение к человеку. Впрочем, что бы она могла сделать?»

Его охватывал ужас бессилия перед стихией, ужас бессилия отдельной личности перед порывом масс.

Он понимал, что от этого можно сойти с ума.

Александр Васильевич начал было писать большую газетную статью, но бросил ее на половине. Все равно ни одна газета ее бы не напечатала.

Так прошло еще полторы недели.

— Вы знаете, — сказала ему Аня, — у нас пропал Максим

Максимович!

Он был в гостях в ее крошечной комнате. Они собирались вместе осмотреть выставку картин.

— Пропал? — удивился Александр Васильевич. Он уже успел привыкнуть к этому меланхолику.

— Да! уже три дня! Хозяйка заявила в полицию! И как странно: все его платье здесь, он ушел в халате, а накануне сам смастерили большой деревянный крест...

— Его давно бы следовало отправить в больницу, — заметил Александр Васильевич. Ему было неприятно, что это исчезновение расстроило Аню.

Спустившись по подъемной машине, они наняли автомобиль и поехали на выставку.

На улицах было обычное оживление, но как изменилась за это время Москва! Полицейские стояли на постах по двое, и уже не с прежними тростями, а с вновь изобретенными электрическими револьверами, от которых батареи в виде патронных сумок прикреплялись к поясу. Такой револьвер мог выбросить до двухсот электрических искр, — по двадцати в секунду, — и действие их было одинаково с ударом молнии.

Недавно городовой выстрелом из такого револьвера убил анархиста, бросившего бомбу, и той же искрой расщепило и повалило телеграфный столб.

Не было сбوريщ на улицах, прохожие молча и сосредоточенно спешили по своим делам.

Выставка помещалась в залах Исторического музея. Устроило ее новое общество художников, носившее название «Союза ясновидящих».

Уже зажглось электричество, когда Аня и Александр Васильевич вошли в первую залу.

На первом полотне была изображена лиловато-мутная дымка и ярко-светлая точка посредине, похожая на огненный зрачок. Нужно было долго, пристально смотреть в этот зрачок, и тогда, по словам критиков, воображение художника гипнотически передавалось зрителю, и он «начинал видеть» образы, реально не переданные на полотно.

Называлась картина «Воплощение Духа».

Аня и Александр Васильевич до слез смотрели на огненный зрачок, но воображение автора не передавалось им. Впрочем, Александру Васильевичу показалось, что он видит голову турка или армянина в феске.

Публики было мало.

Александр Васильевич и Аня, перебрасываясь короткими замечаниями, проходили мимо полотен, почти не останавливаясь перед ними. Одно из полотен было поставлено к зрителям обратной стороной. Эта картина называлась «Загадка».

В последней зале было совсем пусто. Аня присела отдохнуть.

— Знаете, что, по-моему, представляет вся эта выставка? — сказал ей Александр Васильевич.

— Что?

— Это — заблудившийся дух человека в поисках истины и красоты.

— Заблудившийся... — повторила она машинально.

— А вам не кажется, что и все мы заблудившиеся? — спросил он ее, — стремящиеся «отгадать жизнь» и свои отгадки возводящие в кульп истины? И все мы ошибаемся. И даже все эти политические течения, все это — отгадка жизни...

— Но кто же действительно «отгадывает» жизнь? — вырвалось у нее.

— Я не знаю. Я такой же отгадчик, как и вы, как и все... Только мне кажется, что эта «отгадка» проще, чем думают. «Жизнь»!..

И вдруг он почувствовал, что все его существо охватило что-то новое, могучее, радостное, светлое, точно в окно брызнули снопы солнечного света и волнами ворвался теплый весенний воздух. На глазах у него показались слезы, легкая судорога прошла по лицу, и он прошептал, наклонившись к ней:

— Разве ты не видишь, не чувствуешь, что я тебя люблю?

— Я это знаю, — ответила она, также шепотом. — Но, милый, не будем пока говорить об этом... После... потом...

- Но почему же? — вырвалось у него почти с болью.
- Близка... отгадка жизни! — проговорила она тихо.
- Но ты... ты любишь?
- Да! — ответила она, прямо взглянув ему в глаза.

Они под руку спустились с лестницы и вышли на Красную площадь. Перед ними темнел памятник Минину и Пожарскому, направо краснела старая зубчатая стена Кремля.

Со стороны Замоскворечья поднимался туман над незамерзшей еще рекой, и вдруг из этого тумана блеснул светлый луч, и тотчас же на темном облачном небе отпечатались огненные буквы:

«Да здравствует анархия!»

Они уже ехали домой на автомобиле, когда мимо них проскакал отряд конной полицейской стражи.

Отряд мчался атаковать прокламатора-анархиста.

Дома Александру Васильевичу подали номер «Вечерней газеты». В отделе местной хроники он прочел:

«Сегодня задержан полицией психически больной отставной капитан Лапшин. Почти неодетый, с деревянным крестом в руках, он проповедовал покаяние и конец мира. Умопомешательство на религиозно-политической почве — характерное явление нашего времени».

VII

Министерство Римана

Анархисты недаром объявили в своих прокламациях и манифестах о своем выступлении в активной борьбе с правительством. Террористические покушения начали совершаться по всей стране. Каждый день газеты сообщали то о новом взрыве, то об убийстве, то о нападении. Во всех газетах появились отдельные рубрики, посвященные этой новой «злобе дня».

В Европе было не лучше, и в Германии ожидали опубликования нового закона об анархистах, устанавливающе-

го смертную казнь уже за одну принадлежность к крайним фракциям этой партии и ссылку на каторгу за принадлежность к средним.

Но все гонения служили пока только на пользу анархистам, рекламируя их среди населения.

Одна из анархистских газет, издававшихся в Англии, даже отметила с иронией:

«Мы очень благодарны правительствам европейского материка за рекламирование нашей партии!»

В России также ожидали новых законов об анархистах, но, так как Думы не было, а следовательно, издавать законы было нельзя, то эти законы должны были называться временными правилами.

Говорили о введении вновь смертной казни.

Вся страна была похожа на озеро, над которым поднималась зловещая грозовая туча. Вихрь еще не налетел, но уже вся поверхность волновалась тяжелой зыбью, над которой местами всплескивались белые гребни валов.

В один прекрасный день в газетах появилась телеграмма, извещавшая об отставке премьер-министра.

Преемника ему не было. Вместе с ним распался и кабинет. Места министров временно заняли их товарищи, а один из портфелей, за неимением настоящего министра, взял директор департамента.

Газеты начали пестреть именами действительных и воображаемых кандидатов, но скоро все эти предположения опрокинула коротенькая официальная телеграмма:

«Премьер-министром назначен военный министр генерал Риман».

Генерал быстро, по-военному, сформировал новый кабинет и выпустил декларацию, в которой намечались два пункта: быстрота и дисциплина.

Новый премьер начал действовать решительно: он запретил съезд представителей кадетских партий. Кадетские делегаты попробовали было ему возражать, но генерал решительно пригрозил им арестом.

Кадетам оставалось только одно: снова ехать в Гельсингфорс.

Но кадеты устроились иначе: они объявили митинг по беспроволочному телефону. Начало должно было произойти в Москве.

Для московской полиции настало тяжелое время. Особые агенты охотились за аппаратами беспроволочного телефона и конфисковывали их, но совершенствующаяся техника и здесь насолила агентам административного порядка: появились новые приборы беспроволочного телефона, которые легко было прятать в кармане.

На улице, в вагоне, где угодно, можно было вынуть из кармана аппарат, из другого трубку, зарядить его и разговаривать совершенно свободно с другим лицом, обладателем однотипного аппарата.

Градоначальник был в отчаянии и опубликовал обязательное постановление, по которому всякий обладатель беспроволочного телефона, не имевший разрешения, подвергался штрафу в три тысячи рублей.

Скоро были изданы временные правила о введении смертной казни.

«Для устрашения враждебных обществу элементов и для ограждения безопасности и благосостояния мирных граждан», — как сказано было в этих правилах.

И опять газеты анархистов встретили это объявление с радостью.

«Мы все ближе и ближе сталкиваемся лицом к лицу с нашими врагами», — писали их передовики в разнообразных газетах. В одной Москве было закрыто пять газет, но редакторы их скрылись.

Наряду с правительственной борьбой против анархистов, с принадлежащими к этой партии стали бороться и общественные элементы. Члены конституционных партий читали лекции против анархизма, а чернь в некоторых городах подвергла анархистов избиению, причем несколько анархистов были убиты.

Студентов стали называть анархистами.

В ответ на эти нападки из общества анархисты объявили, что будут мстить и враждебным общественным элементам.

«В наших руках, — говорилось в прокламациях, — есть могучее средство заставить наших врагов признать себя побежденными».

Но это средство пока хранилось в тайне.

VIII

«Просветление»

В это время в Москве появилась новая газета, издателем которой значился граф Дюлер. Она называлась «Просветление».

Это был революционный орган крайних правых, и общество поражено было смелостью, с какой эта газета обрушилась на анархистов и на всю левую оппозицию. В ней стояла отборнейшая ругань. Крестьян пугали тем, что евреи отнимут у них землю, и призывали их к восстанию, чтобы вернуть стране старый порядок.

«Нас губят Дума, жиды и анархисты!» — крупными буквами печатала газета.

Ее номера тысячами бесплатно рассылались в провинцию.

— На эту газету дал деньги мой отец, — говорила Аня Александру Васильевичу. — Как ужасна эта проповедь человеконенавистничества!

— Но ведь, Аня, ты сама признаешь необходимыми покушения анархистов, — возразил Александр Васильевич. — А это разве гуманно?

— Это — война! — вздохнула Аня. — Мы не трогаем мирных граждан.

— А последнее покушение в Варшаве, при котором погибли несколько человек женщин и детей, — возразил ей Александр Васильевич, — разве это не ужасно?! Ты скажешь: это несчастный случай? Согласен. Но разве можно сваливать все на случай, когда употребляют такие страшные разрывные снаряды? Ведь одна бомба величиной в орех вы-

рывает целую брешь в стене дома. Ведь такой случай несколько не отличается от убийства, а если поставить рядом убийство и человеконенавистничество...

— Ты хочешь сказать, что анархисты такие же человеконенавистники? — покраснела Аня.

— Вовсе нет, ты не так меня поняла! Цель анархистов красивее их цели, но называете ее вы одинаково «общим благом». Но там, где проливается кровь, нарушается высшая правда, высшая свобода человека — его право жизни, и на обрызганной кровью земле вырастает человеконенавистничество...

— А по-моему, человеконенавистничество было раньше, — возразила Аня. — Я понимаю только твое отвращение к крови...

— Ты и сама чувствуешь это отвращение? Не правда ли?! — воскликнул он с жаром.

Она кивнула головой:

— Это правда.

— Как я рад! — вырвалось у него. — Ты знаешь, я не говорил тебе последнее время, но меня постоянно мучила одна мысль: что ты можешь быть убийцей, что «они» заставят тебя бросить бомбу!

— По своей воле я никогда, этого не сделаю! — сказала она твердо.

— Но если на тебя падет жребий? Если тебя заставят?

Он пытливо смотрел ей в лицо.

— Партийная дисциплина обязывает меня... Я уже тогда не принадлежу себе, — ответила она нерешительно.

— Дисциплина! А толкуете о свободе, — вырвалось у него с горечью.

— Ты мальчик, — попробовала пощутить она. — Ведь нужно же приносить себя в жертву идее, общему благу...

— Опять это общее благо! — воскликнул он. — Но почему же не мое благо, не твое благо, раз оно общее? Общее благо — общий и эгоизм, потому что благо — понятие эгоистическое.

— Есть благо и в самопожертвовании.

Но он уже не мог быть спокойным. Его волновала одна

мысль о том, что она может подчиниться, найдет в себе столько силы воли, что подчинится решению этой партии, которая представлялась теперь для него каким-то чудовищем, и пойдет и убьет...

— Слушай, поклянись мне, — сказал он в сильнейшем волнении, — что, если на тебя когда-нибудь падет жребий произвести это... — он хотел сказать «покушение», но сказал, — ужасное дело, ты скажешь об этом мне? Поклянись...

— Но ведь это тоже насилие над свободой! — ответила она, тронутая его волнением.

— Боже мой! — вырвалось у него.

— Успокойся! — проговорила она. — Какой ты нервный! Ничто еще мне не грозит, да вряд ли и может грозить. Я не в боевом отряде. Но, во всяком случае, если бы мне пришлось подчиниться партии, я тебе скажу первому!

Он с чувством пожал ее руку.

— Благодарю тебя! Мне, вероятно, придется скоро поехать на несколько дней в деревню. Мне важно, чтобы я был спокоен за тебя.

— Будь покоен! Поверь, что мне ничто не грозит!

Она улыбнулась. Ее обычная серьезность исчезла в этот миг. На него смотрело доброе, любящее женское лицо.

«Если бы она всегда была такой!» — подумал он. Политика представилась ему тем всепожирающим Молохом, которому приносится в жертву и любовь, и счастье, и жизнь.

Принесли самовар. Аня стала заваривать чай. Самовар тихо мурлыкал, мягкий полусвет электрической лампочки, закрытой красным абажуром, наполнял комнату. Стало тихо и уютно. В незавешенное окно виднелась чуть ли не с птичьего полета освещенная вечерними огнями Москва.

Его беспокойство улеглось. Он теперь сам улыбался Ане.

— Как хорошо! Если бы всегда было так! — вырвалось у него.

Она засмеялась:

— Ты большой сибарит!

— Нет, кроме шуток! Спокойствие, любовь, теплота... что еще нужно человеку? «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой!» Покой — счастье!

— А это что? — показала она на небо.

Он повернулся к окну. На небе, над Театральной площадью, горела надпись: «Конец мира».

— Даже и забыться нельзя! — с грустью произнес он, отворачиваясь от этой роковой надписи.

Вдруг что-то дрогнуло, блеснула молния, пол закачался под их ногами. Зазвенели стекла. За окном раздался грохот.

— Бомба! — воскликнул он.

Аня быстро подошла к окну, распахнула форточку.

Но все было по-прежнему тихо, лишь издали доносился какой-то неясный гул.

— Далеко! — сказала она. — Это на Моховой или на Тверской.

— Опять кого-нибудь ранили, убили, искалечили, — проговорил он со страдальческой улыбкой. — Когда же это кончится?

— Это кончится, милый, — ответила она. — Это скоро кончится. — Она была тронута его страданием. — Началась зыбь, потом будет буря... Потом будет солнце, ясный солнечный день. Свобода, счастье, мир и покой, которого ты так ищешь. Бедный ты мой! Мне иногда кажется, что я мужчина, а ты женщина.

Она в первый раз крепко поцеловала его в губы.

Александр Васильевич поздно уехал от Ани. Но ему не хотелось домой. Он был возбужден и хотел видеть людей, разговаривать, волноваться.

Он поехал к Пронскому.

Тот жил на Арбате, в одном из переулков, недалеко от храма Чистому Разуму. У него, совершенно неожиданно, Александр Васильевич застал целую пиршку.

Несколько человек художников, товарищей Пронского, два молодых литератора, три артистки из недавно открывшегося на Никитской «Античного театра» — все одетые в туники, с обнаженными руками, — возлежали за столом, убранном цветами. Одна из артисток, с прической Сафо, тихо играла на арфе.

Александр Васильевич остановился, пораженный.

— Добро пожаловать, Александр Васильевич! Очень рад. Вы в древнем Риме или Греции. Это сегодня у нас первый опыт... Но вы должны надеть тунику и сандалии. Хотите, дадим и тогу. Без этого нельзя.

— Привет тебе, о пришелец! — продекламировала Сафо.

— Что значит этот маскарад? — удивился Цветков.

— Да просто мы отдыхаем! — откровенно ответил Пронский. — В наше суровое время исчезла красота, исчезла художественность. Музы надели плащи цвета партий... Вот мы, желая отдохнуть, и воскресили в переулке Арбата кусочек древней Греции...

— Возле храма Чистому Разуму?

— Вместо него я построил бы храм Аполлону.

Но Александр Васильевич не надел туники и уехал домой, как ни упрашивали его хозяин, гости и артистки, изображавшие гетер.

IX

Храм «Чистого Разума»

Храм «Чистого Разума» представлял из себя простую аудиторию, в которой хозяйничали социал-демократы. Здесь часто происходили митинги. С развитием материалистической философии отрицание всякой религии привело к созданию целого культа атеистов; полная свобода совести дала фактическую возможность последователям этого культа построить храм новому Богу, имя которого было: «Чистый Разум». И вот в одном из переулков Арбата появилось оригинальное здание древнегреческой архитектуры с портиком и колоннами, увенчанное легким куполом. Над входными дверями сверкала золотая надпись: «Бог-Разум».

В воскресные и праздничные дни здесь происходило «богослужение». Так назывались лекции профессоров, посвященные вопросам материалистической философии. Иногда кафедру проповедника занимал профессор-естествен-

ник, и тогда «богослужение» сопровождалось опытами. Храм «Чистого Разума» был своего рода народным университетом, и его посещали не только «верующие», но и люди религиозные, демонстративно покидавшие скамьи в критических местах.

Духовенство различных вероисповеданий начало поход против «новой секты». В церквях говорились проповеди. Папа попросту предал ее проклятию, а основателя «секты», известного французского профессора, объявил антихристом. Один ученый православный архиерей поместил в «Московских ведомостях» огромную статью, в которой доказывал «вред науки». Газета вздыхала по этому поводу, что она всегда была против народного образования.

Было воскресенье. Афиши и объявления в газетах гласили, что в этот день известный профессор, естественник, прочтет лекцию: «О происхождении позвоночных, а следовательно, и человека, от кольчатых червей».

Александр Васильевич еще накануне решил пойти в «Храм Разума».

Белый зал, стены которого были выложены искусственным мрамором, был полон. Собралась самая разношерстная публика. Были интеллигенты, были рабочие, женщины, подростки, даже несколько человек детей, которых взяли с собой мамаши. Длинные скамьи, расположенные как в театре, все были заняты. Публика толпилась даже в проходах и в большом просторном вестибюле, в котором разрешалось курить. Здесь велись оживленные прения, здесь же продавались популярные книжки и раздавались бесплатно возвзвания и брошюры.

Александр Васильевич протискивался сквозь эту толпу, прислушиваясь к фразам и отрывочным разговорам.

— Нужно ввести некоторую торжественность и обрядность в наши собрания, — говорил какой-то толстяк, — например, орган... В антрактах пусть он исполняет канканты. Канканту «Чистому Разуму». Лекторы должны появляться в длинном одеянии, за кафедрой устроить что-нибудь вроде алтаря...

Но ему не дали докончить.

— Вы хотите действовать на чувства там, где должен царить только разум? Ритуальность — это насилие над свободой разума.

— Он мистик.

— Масон!

Голоса слились в общий шум, который прервал звон колокольчика. Начиналось «богослужение».

Александр Васильевич хорошо знал профессора, вошедшего на кафедру и, в сущности, ему была не нова его теория, по которой весь мир произошел от клеточки протоплазмы. Его интересовала лишь та форма, в которой профессор должен был популяризировать эту теорию, и как она подействует на новичков, по воскресеньям посещавших эти лекции.

Профессор начал читать. В зале стало тихо; только из вестибюля доносились сквозь закрытые двери неясные человеческие голоса. Покончив с предметом лекции, оратор перешел на главную тему — прогресс человечества.

— Мы видим, — сказал он, — как могуче и всесторонне развивается человеческий гений. Еще в давние времена человеческая мысль останавливалась на возможности бессмертия, достигнутого светлым разумом человека, а не по благости и воле другого Высшего Существа. И мы достигнем этого бессмертия. Разум человека — это Бог!

Он кончил и уже готовился сойти с кафедры, как вдруг из толпы слушателей раздался голос:

— Разум человеку дан Богом... В этом только его божественное происхождение. Человек создан по образу и подобию Божию... Вы заблуждаетесь, профессор!

Это говорил один из новичков. Александр Васильевич успел заметить его покрасневшее от волнения лицо.

Профессор остановился, но не успел ответить неожиданному оппоненту, как другой голос крикнул:

— Рече безумец в сердце своем: несть Бог!

В публике прошел смутный гул, но в это время в вестибюле раздались громкие крики, топот, хлопнула дверь и послышался звон разбитых стекол. С треском слетела с петель тяжелая дубовая дверь, и шум ее падения был похож

на выстрел.

— Спасите! — раздался чей-то отчаянный голос.

Но его сразу же заглушила волна человеческих голосов. Все повскакали с мест.

«Погром!» — сверкнула мысль в голове Александра Васильевича.

В дверях произошла короткая свалка, и группа новых людей хлынула к кафедре. Это были рабочие, солдаты, женщины, несколько монахов, были по виду и интеллигентные лица, — и вся эта толпа, как хлынувшая волна, залила помещение, смешавшись с повскакавшими со скамеек.

Впереди бежал человек в желтом больничном халате, в колпаке, с растрепанной бородой. В высоко поднятой руке он держал деревянный крест.

— Максим Максимович! — узнал его Александр Васильевич.

Он сразу понял всю опасность и остроту положения.

Он видел, как десятки рук подняли Максима Максимовича и поставили его на кафедру. Помешанный капитан стоял на ней, все так же высоко держа крест и сверкая воспаленными глазами.

— Горе! Горе вам! — крикнул он пронзительным голосом, прозвучавшим, как резкий лязг стальной полосы, в гуще общих криков.

Несколько женщин бились в истерике.

Шум немного стих.

— Горе вам, безумцы! — продолжал этот новый Савона-рола. — Горе! Грядет страшный суд! Огнь небесный сойдет и пожрет вас. Огонь очистит сердца заблуждающихся!

— Жги! — раздался чей-то пронзительный крик. — Жги!

Толпа хлынула к выходу. Все смешалось в беспорядочную кучу. Раздались раздирающие крики, кого-то опрокинули и топтали ногами. Александра Васильевича подхватило и понесло вместе с толпой; сдавленный со всех сторон человеческими боками и спинами, он не мог пошевелиться, не мог высвободить рук. Его охватил панический ужас, мгновенно овладевший и всей толпой. Люди обезумели и давили друг друга. Из «Храма Разума» отлетел человече-

ский разум; там царilo одно безумие.

Люди вскарабкивались на плечи других и бегали по головам; лезли на окна и разбивали зеркальные стекла; осколки этих стекол резали им руки и лица, резали тело, но они все-таки лезли, а другие, — в бешеноj яности и безумной жажде спастись, — стаскивали их за ноги, грызли зубами, наносили им удары.

Человеческая кровь обагрила белый мрамор стен; люди растаптывались ногами. Было уже несколько убитых, на трупы которых, не видя их, спотыкались и падали живые.

И упавший уже не мог подняться.

А пронзительный крик «жги!» страшной угрозой и леденящим ужасом звенел в общей панике.

Людская волна вынесла Александра Васильевича на середину зала. У него было мутно в глазах, он чувствовал, что задыхается. Кто-то больно укусил его в плечо, но он почувствовал только мимолетную боль и не обратил на это внимания. Перед ним был чей-то затылок и широкая спина; и вдруг спина эта как-то странно сразу осела вниз, и на мгновение перед Александром Васильевичем образовалось пустое пространство. Он воспользовался этим, чтобы высвободить руки, и тотчас же почувствовал под ногами живое и мягкое.

«Я хожу по человеку!» — мелькнула у него мысль, но какая-то тусклая и безразличная.

Мелькнула и пропала. И он сразу забыл обо всем, кроме одного: безумной жажды жизни. Он закричал, но так, как будто это крикнул кто-то другой, схватился за плечи передних, и его выкинуло наверх, как волны в бурю выкидывают на берег камни. И он побежал по головам и плечам к окну, схватился за край выбитой рамы и прыгнул.

Он упал в кучу снега, поднялся, отошел машинально на несколько шагов в сторону и сел на край тротуара.

Снаружи тоже была толпа, которую не мог рассеять вызванный усиленный наряд полиции. Потребовали по телефону батальон солдат. А внутри здания стонало, гудело и трещало.

— Откройте боковую дверь! Боковую дверь! — кричал

кто-то отчаянным голосом.

Но никто не видел этой двери.

Из толпы вырвался человек.

— Прочь! Бомба! — крикнул он властно.

Толпа шарахнулась.

— Я взорву часть задней стены! Образуется брешь... —
крикнул еще раз неизвестный. — Иначе погибнут все...

Он взмахнул рукой, и в ту же секунду вместе с громовым ударом и клубком дыма исчез совсем, точно его не было. Его разорвало на куски.

Стена треснула, посыпались камни; в черное зияющее отверстие в несколько аршин, образовавшееся в ней, хлынули обезумевшие люди.

Выход был дан.

Взрыв оглушил Александра Васильевича, продолжавшего сидеть на тротуаре. Мимо него проносили убитых и раненых, клали их на снег и потом уже разбирали по каратам скорой медицинской помощи.

Наконец, Александр Васильевич поднялся. Он был весь разбит, с трудом сделал он несколько шагов по тротуару, запруженному людьми, и остановился, пораженный, перед лежащей без чувств на снегу девушки.

Аня!

Он упал на колени и склонился над нею; она слабо дышала.

А из окон опустевшего здания выбивались клубы дыма: в нем разгорался пожар.

К утру от храма «Чистого Разума» остались одни почерневшие развалины.

Х

Бред или правда?

Александр Васильевич привез Аню к себе, вызвал по телефону врачей. Перед тяжелым положением любимой деву-

шки он забыл собственное недомогание.

К счастью, доктора не нашли у нее серьезных повреждений; толпа только смяла ее, но тем не менее ей был предписан полный покой.

— Необходимо отсутствие всякого шума, даже громкого разговора, — сказал профессор, осматривавший больную.

— Все зависит от того, насколько ее нервы выдержали это потрясение. При крепком нервном организме она оправится через несколько дней, при худших же условиях...

— Говорите откровенно, — перебил его Александр Васильевич.

Профессор посмотрел на него.

— При худших же условиях, — продолжал он, — возможна нервная горячка.

Аню привели в чувство.

— Она зовет вас, — сказала Александре Васильевичу вышедшая из комнаты больной, недавно приехавшая сиделка.

Александр Васильевич осторожно вошел в свою маленькую гостиную, превращенную теперь в комнату Ани.

Шторы были опущены, сдвинутая в один угол мебель придавала всей комнате странный, опустошенный вид; пахло эфиром, на столе лежали и стояли пузырьки. На подушках кровати он увидел голову Ани с бледным лицом и разметавшимися волосами. Она лежала, как в сиянии, и показалась ему слабой, маленькой и беззащитной, как больной ребенок.

Он почувствовал острую жалость.

Аня лежала с закрытыми глазами; из-под опущенных ресниц медленно скатывались слезы. Она не подняла их, когда он вошел, но почувствовала, что он здесь, и тихо прошептала:

— Александр...

Он подошел к ней, боясь, что разрыдается сам, пересиливая в себе охватившую его жалость.

— Ты спас меня... да? — продолжала она. — Там все кончились... Какой ужас.

Ее грудь заволновалась.

— Не беспокойте себя... вам это вредно,— прошептала стоявшая у изголовья сиделка.

— Ничего... Скажи мне, много погибло?

Она тихо высвободила руку из-под одеяла. Он понял, что она ищет его руки и осторожно коснулся ее холодных, влажных пальцев.

— Какой ужас, какой ужас, — опять проговорила она.

— Аня, не волнуйся, — заговорил он. — Поверь, все будет хорошо. И никто не погиб. Забудь. Засни, дорогая...

Она опять начала забывать.

Он присел на стул у кровати, боясь высвободить свою руку из ее тонких пальцев, чтобы не потревожить больную. Так прошло несколько минут.

«Она выздоравливает... Она непременно выздоравливает, — почти молитвенно думал Александр Васильевич. — Это будет счастье. Господи, какое это будет счастье!»

Аня вздрогнула и открыла глаза.

— Дикгоф, — проговорила она. — Дикгоф! Остановите корабль.

— Что ты? — испуганно спросил Александр Васильевич.

— Бредит! — делая ему знак, прошептала сиделка.

Аня сжала руку Александра Васильевича и смотрела на него широко раскрытыми глазами, но он видел в них только выражение ужаса. Она не узнавала его.

— Остановите же корабль! Я не хочу! — вскрикнула Аня.

— Кровь! Кровь!

— Аня! Очнись, успокойся. Здесь я... Нет никакого корабля, — пересиливая спазму в горле, проговорил Александр Васильевич.

— Корабль... воздушный... Наш корабль... Вот он. Ах! Будет взрыв... Остановите!

Она конвульсивно поднялась на постели, простирая вперед обнаженные руки.

— Я не хочу! Я свободна! Я не хочу с вами! — закричала она. — Корабль «Анархия»... Остановите!

Она упала бы с постели, если бы Александр Васильевич и сиделка не удержали ее. Она еще билась, но уже изнемогая и, наконец, затихла, когда ей на голову положили лед.

Молитвенное настроение пропало; Александр Васильевич испытывал теперь только страх, страх за Анию и какое-то особенное тревожное чувство к ее словам.

«Она бредит, — стояла в нем неотвязная мысль. — Но в этом бреду какая-то правда. Она чувствуется. Корабль “Анархия”? Неужели анархисты придумали какое-нибудь новое страшное средство для своей “пропаганды действием”, о котором знает Аня?»

И он с тревогой смотрел на успокоившуюся больную, а его воображение рисовало ему таинственный воздушный корабль анархистов летящим над Москвой и сеющим смерть и разрушение, как сказочный дракон, испепеляющий огнем все живое.

Управляемые аэропланы достигли уже в это время широкого применения, особенно в военном деле, а там, где прогресс техники постоянно призывался на помощь разрушителями существующего строя, там могли оказаться новые неизвестные гении, новые изобретатели, подарившие человечеству новое страшное творение их ума, которое должно было бы служить только для человеческого счастья.

«И она сама ужаснулась этого, — думал Александр Васильевич, всматриваясь в успокоившееся лицо уснувшей Ани, — ужаснулась под влиянием только что испытанной ужасной катастрофы. Но ведь это к лучшему!» — мелькнула в нем радостная мысль. Мелькнула и померкла перед ожиданием грядущих неведомых несчастий.

«Бред или правда?» — опять подумал он.

На другой день Аня чувствовала себя лучше, но была еще очень слаба. Опасность горячки миновала.

— Нервы у больной оказались крепкими, — сказал Александр Васильевич профессор. — Это большая редкость в наш нервный век.

Он уехал, предписав Ане полное спокойствие.

Но Аня в тот же день заставила Александра Васильевича прочесть себе газету. Во всех изданиях были помещены подробные описания катастрофы на Арбате, снимки со сгоревшего здания, с трупами жертв и фотографии некоторых из уцелевших.

Подробности несчастья выплывали перед нею в памяти по мере того, как он читал.

— Как только я увидела Максима Максимовича, — сказала Аня, — я испугалась. Я поняла, что должно случиться что-то страшное. И оно случилось. Но как он ушел из больницы?

— Здесь об этом говорится: его освободила толпа черни, и не только его, но и всех больных выпустили.

Он не сказал, что в «Просветлении» Максима Максимовича описывали, как святого.

— Он жив? — тихо спросила Аня.

— Еще неизвестно. Пока его не разыскали. Погиб тот, кто, пожертвовав собой, спас большинство жизней.

— Это наш, — промолвила Аня. — В организации, вероятно, уже знают его имя. А нас считают человеконенавистниками!

Он хотел спросить ее по поводу ее вчерашнего бреда, но побоялся сделать сейчас этот вопрос и промолчал.

Аня заволновалась.

— Ведь я была не одна, — заговорила она. — Мы были втроем. Мои знакомые... живы ли они? Александр, справься об этом для меня, — прибавила она умоляюще.

— Зачем ты меня об этом просишь? — ответил он с легким укором. — Конечно, я сделаю все.

Она благодарно улыбнулась.

— Съезди в нашу коммуну... Это на Покровке. Я скажу тебе пароль. Там есть часовой магазин Светочева. Взойди туда и скажи потихоньку хозяину или приказчику: «Дикгоф». Тебя проводят в квартиру. Справься там от моего имени о Горянской, Будкевич и Цорне. Он тоже там был. Скажи, что я жива.

Он наклонил голову, чтобы скрыть свое волнение. Слово «Дикгоф» напомнило ему вчерашнее.

«Бред или правда?» — опять подумал он.

Три веры

Учение анархизма распространилось к этому времени, главным образом, в государствах менее развитых в правовом отношении. И если во Франции, Германии и Англии оставались умственные очаги этого учения, то последователей его насчитывали более всего в Турции, Персии и России.

Люди, в долгой и упорной борьбе отчаявшиеся приблизиться к намеченным идеалам, добиться свободы, покоя и счастья, бросались в крайности и видели спасение в анархии.

Анархизм прививался инстинктивно и, менее научно обоснованный, чем социализм, легче усваивался. Убежденные анархисты видели в социализме злейшего врага, доказывали, что он приведет к еще большему деспотизму над отдельной личностью человека, чем даже монархия, а социал-демократы утверждали то же самое об анархизме и доказывали, что отдельные коммуны анархистов будут продолжать между собой ту же борьбу за жизнь, которую ведут теперь отдельные человеческие личности, и общество придет от этого в полное одичание.

Обе эти партии боролись за господство.

Аня была сначала бессознательной анархисткой. В партию она попала случайно, и ее увлекла проповедь крайнего индивидуализма, ставящая человека в условия ничем не ограниченной свободы. Эту свободу давал только пролетариат, а не реформаторы из класса собственников, и Аня верила, что вожди нового учения разрешат проблемы нищеты народных масс и приведут человечество к полному счастью.

И она, как настоящая анархистка, горячо повторяла, что свобода, собственность, семья и все блага, которыми гордится буржуазное общество, потеряли давно свою сущность и стали бессодержательными.

Что за свобода без счастья, собственность — когда у миллионов людей нет ничего, кроме пары рабочих рук, семья — когда большинство людей не имеют ее?

Александр Васильевич любил прежде посмеяться над Аней, называя анархизм утопией, даже реакционным явлением, каковым его считали социал-демократы. Аня сердилась, доказывая, что, наоборот, социал-демократизм является одной из форм порабощения человеческой личности.

На одном из островов Атлантического океана два года тому назад была торжественно открыта социал-демократическая республика, в члены которой записалось много лиц разных национальностей: тут были и русские, и французы, и немцы, и евреи, и негры...

Называлась республика Карлосией, в честь Карла Маркса, и президентом ее был негр Джон Бич, большой приятель Максима Горького. Денег в республике не было, но ее ярлыки или боны, которыми за обязательный труд обеспечивались жизненные потребности, ходили по всему свету вместо денег и менялись на деньги всеми банкирскими конторами. Ярлыки измерялись рабочими часами и минутами. Всего ниже стоял по курсу русский рубль; за него давали всего пятнадцать рабочих минут.

Банкиры великолепно наживались на учете карлосских ярлыков, и вот это-то распространение их вместо денег анархисты ставили как доказательство реакционности социал-демократизма.

А так как денег везде было очень мало, ярлыками социал-демократов иногда выплачивали даже жалованье правительенным чиновникам.

Буржуазия великолепно сумела примениться к новым формам, возниквшим в жизни...

Александр Васильевич доехал до Покровки по воздушной дороге и скоро разыскал магазин Светочева. За прилавком стоял старик с окладистой бородой и с седыми наспущенными бровями.

— Дикгоф, — тихо сказал ему Александр Васильевич.

Старик молча нажал электрическую кнопку; из двери, ведущей во внутреннее помещение, вышел молодой человек в фартуке, которым он вытирал запачканные руки.

— Проводите, — отрывисто сказал ему старик.

— Пожалуйте за мной, — пригласил тот Александра Васильевича.

Они пошли по коридору, спустились вниз и вошли в подвал, заставленный ящиками и старой мебелью. Александр Васильевич начинал удивляться этой таинственности. Впрочем, все скоро объяснилось. Проводник коснулся рукой стены, и перед ними открылась совершенно незаметная потайная дверь, которой начинался подземный ход.

Оба вошли туда, дверь автоматически захлопнулась за ними, и тотчас же на потолке зажглись электрические лампочки. Ход был похож на великолепный коридор в первоклассной гостинице, но только без окон.

Минут десять они шли этим коридором, оканчивавшимся другой потайной дверью. Проводник открыл ее, они снова очутились в подвале, похожем на первый, и переходами выбрались из него в большую комнату, хорошо меблированную, в которой было около пятнадцати человек мужчин и женщин.

Все были незнакомы Александрю Васильевичу. Высокий мужчина, с резкими чертами лица, без усов и бороды, одетый в длинный черный сюртук, встал из-за стола, заваленного бумагами, и пошел навстречу Александрю Васильевичу.

— Вы из хамовнической коммуны? — спросил он.

— Я прибыл по поручению, — ответил Александр Васильевич и назвал фамилию Ани.

Его проводник в это время уже скрылся; он был один в незнакомом и странном для него обществе.

Но едва он произнес фамилию Ани, его все окружили.

— Она жива? Да? — набросились на Александра Васильевича женщины, среди которых две были моложе Ани.

— Товарищи, подождите! Терпение! — властно сказал им безусый мужчина.

— Да, она жива и вне опасности. Она в моей квартире, — ответил Александр Васильевич, передав господину в сюртуке свою карточку. — Вот мой адрес.

— Дикгоф, — подал ему руку господин. — Вместо всякой карточки вам достаточно, как вы уже убедились, назвать мою фамилию. Но я должен предупредить вас, что за нарушение тайны конспирации наказываются смертью как лицо, проникшее в нее, так и лицо, доверившее тайну.

Александр Васильевич вспыхнул:

— Я не сыщик.

— Никто вас им и не считает. Это предупреждение.

— Простая формальность, — раздались голоса.

Дикгоф сделал жест рукой.

— Я уверен в этом.

— Горянская и Будкевич в больнице, — сказала Александре Васильевичу самая молодая из женщин. — У Будкевич сломана нога. А Цорн погиб. Его убило при взрыве.

— Да, Цорн погиб, — нахмурясь, повторил Дикгоф. — Это был славный товарищ.

— Он бросил бомбу? — спросил Александр Васильевич.

— Я тоже был там.

XII

Сумма в двести часов

Болезнь и содержание Ани унесли порядочно денег; дела Александра Васильевича шли неважно, в делах вообще у всех был застой, и Александр Васильевич увидел себя в необходимости искать денег.

Искание денег было обычным занятием москвичей вследствие страшной дороговизны жизни. Многие носили даже розетки в петлицах сюртуков с надписями: «Взаймы не даю» и снимали их, когда просили взаймы сами. Прибавилось множество налогов; кроме квартирного налога, был налог на кухни, на лиц, держащих прислугу, и даже поговарива-

ли установить налог на всех лиц, имеющих золотые часы и серебряные портсигары. Эти предметы быстро исчезли из обращения. Сахар стоил сорок копеек фунт, а мясо шесть гривен. Вегетарианство поневоле развивалось все более и более.

Слава московских трактир исчезла, как дым, а замоскворецкие купцы уже не ездили на блины друг к другу. И только кое-где, по медвежьим углам, еще можно было встретить потомков гоголевского Петуха, съедавших два раза в год по поросенку.

Социал-демократы видели во всем этом благоприятные указание на грядущие перемены и на приближение социалистического общественного идеала, но не было ни одной хозяйки, которая бы не жаловалась на жизнь.

Александр Васильевич поехал к Пронскому, но тот сам был без денег, был мрачен, требовал революции и уже не мечтал о храме Аполлону.

— Все равно, разнесут и его! — безнадежно махал он рукой.

— Денег нет, — сказал он Александрю Васильевичу. — Впрочем, постой. Блестящая мысль! Едем сейчас к одному знакомому человеку. Он вернулся из Карлосии и заработал там двадцать пять тысяч рабочих часов...

— Это 100,000 рублей? — спросил Александр Васильевич.

— Да, по теперешнему курсу. Рабочий час — четыре рубля.

— Как же ему удалось схватить такую сумму?

— А он был чистильщиком нечистот, ассенизатором. Никто в Карлосии не шел на грязные работы, а придуманные машины не могли обойтись без человека. Он записался в партию и приехал в Карлосию. Тогда туда вызывали желающих принять на себя такие должности и за час работы давали ярлык в двадцать пять часов. Он пробыл там года два и вернулся богачом. Теперь, говорят, цену сбили. А то ведь больше всякого премьер-министра получали!

Человечек, побывавший в Карлосии, оказался простым смекалистым москвичом, сохранившим в себе дух конца

XIX столетия. И жил он в деревянном домике с мезонином, похожем на голубятню, чудом сохранившемся в одном из переулков Якиманки. Звали его — Степан Петрович Курицын.

Приятели приехали к Курицыну, когда он только что вернулся с патриаршой службы из Кремля и пил чай с просфорами.

И самовар, и сам Курицын, и его толстая жена, все это напоминало о былом, сытом, купеческом московском обиходе.

Пронский поздоровался и познакомил с хозяевами Александра Васильевича.

— В какой партии теперь, Степан Петрович? — спросил хозяина Пронский.

— В какой? Известно... мы монархисты, — ответил тот.

— А как же в социал-демократы попали?

— Коммерция. Для видимости, все равно, как в гильдию. В Карлосию-то не пустили бы. А теперь, как нам надобности нет, то мы по-старому.

Александр Васильевич с любопытством смотрел на этот новый тип оборотистого дельца, но этот «новый тип» был ему давно знаком

— Умилительно сегодня патриарх служил, — вздохнул Курицын, с треском отгрызая кусочек сахара. — Сахар-то ноне сорок копеек, а в Карлосии фунт минуту стоит, — заметил он. — Анафему сегодня отступникам возглашали.

— Ведь и вы, Степан Петрович, отступник, — ехидно заметил Пронский.

— Что это вы?.. Господь с вами! — воскликнула жена.

— Мы по коммерции поступали, — невозмутимо ответил Курицын.

В деньгах он решительно отказал.

— Не могу-с. Времена не такие... Попробуй-ка вексель ныне учесть? Когда-то вон за тринадцать процентов в тюрьму сажали, а теперь государственный банк восемнадцать сам берет. Какие у меня деньги?

— Так не дадите, Степан Петрович? — спросил Пронский.

— Нет-с. Нет денег! В Карлосию поезжайте, хе-хе-хе! Там заработаете.

— А вы знаете, кто он? — неожиданно спросил Пронский, указывая на Александра Васильевича.

— Нам это все равно-с.

— Анархист.

Степан Петрович поставил блюдечко. Он был смущен и не хотел показывать этого.

— Так, ведь, не экспроприатор же? — заметил он не без робости.

— Александр Степанович, он шутит, — перебил его Александр Васильевич, путая имя.

— Уверяю вас, — стоял на своем Пронский.

— Меня зовут Степан Петрович... Так вы, значит, не анархист? — Он пытливо посмотрел на Цветкова, видимо, не веря его словам. — А сегодня я в Кремле слышал, что появился корабль воздушный анархистов, с крыльями. И как бросят с него бомбу — от целой улицы с переулками мокро становится.

— Страсти какие! — вздохнула жена. — Последние времена настали.

— Как же, это нам давно известно, — продолжал шутить Пронский, — он сам с этого корабля.

— Да будет вам, Сергей Петрович! — рассердился, наконец, Александр Васильевич.

Но, вследствие каких-то неизвестных Александру Васильевичу соображений, Курицын в конце концов дал ему двести рабочих часов под вексель в тысячу двести рублей, нажив, таким образом, пятьдесят процентов.

— Испугался анархистов, — смеялся на обратном пути Пронский. — Как теперь это действует! Все терроризовано! Полиция и жандармы бегут в отставку. Ждут нового закона, карающего трехлетним заключением в тюрьме всякого чиновника, подавшего просьбу об отставке. Иначе некому будет служить. А теперь вон корабль какой-то выдумали.

— Это не выдумали, это правда, — ответил ему Александр Васильевич.

— Правда?

— Такая же, как у меня в бумажнике лежит чек в контору Юнкера на двести рабочих часов.

— В таком случае, дело серьезно, — заметил Пронский.

В тот же день весьма многие видели пролетевшую над Москвой очень высоко гигантскую птицу. Она сделала круг и скрылась на горизонте. А через несколько часов стало известно, что это была вовсе не птица, а управляемый воздушный корабль анархистов.

В Кремле и около всех присутственных мест были поставлены электрические мортиры для стрельбы по новому чудовищу. Город волновался. Многие начали уезжать из Москвы.

XII

«Политический исправник»

Отъезд Александра Васильевича в деревню замедлился. Он не мог уехать, оставив Аню одну. Правда, она поправилась довольно скоро, но была еще слаба, а теперь настало такое время, когда Александр Васильевич должен был особенно за нее бояться. Воздушный корабль анархистов «Анархия» держал в осаде всю центральную часть европейской России. Говорили про ужасные истребления, которые совершил этот корабль. Бомбы падали с неба на все казенные здания и разрушали их до основания.

В Москве с «Анархии» была брошена бомба в здание военно-окружного суда, но разрушительный снаряд по ошибке попал в соседний частный дом и разрушил его до основания вместе с обитателями. В Москве и везде царила паника, как в осажденном городе. Люди ходили по улицам, то и дело поднимая головы кверху, наталкивались друг на друга, и каждая черная точка на небе повергала их в ужас.

Иногда такой точкой оказывалась простая ворона.

Вагоны метрополитена и трамваев перестали циркули-

ровать, появились, Бог весть откуда, прежние допотопные извозчики пролетки, «ваньки», бравшие за конец не менее трех рублей.

— Потому «антихристова птица» появилась, — выставляли они непоколебимый аргумент.

Вся Москва была взрыта. Городская управа сооружала на каждой улице блиндажи, в которых могла бы спасаться публика, домовладельцы сооружали блиндажи на своих дворах, повсюду была проведена электрическая сигнализация, извещавшая моментально всю Москву о появлении страшного чудовища.

В городских блиндажах устраивались ресторанчики и магазины, за которые предприниматели платили бешеные деньги.

Полицейские участки также перебрались в блиндажи. Поспешно строили подземные помещения для тюрем, казарм и судебных учреждений, а также для банков.

Паника царила страшная.

Газеты были полны подробностями о покушениях, произведенных с «Анархии», и описаниями неизвестного воздушного корабля, изобретателем которого называли анархиста Дикгофа.

Бред Ани оказался правдой, но она иначе смотрела теперь на эту «пропаганду действием», которая велась с «Анархии».

— Это ужасно, правда, — говорила она Александру Васильевичу во время горячих с ним споров, — но это так же необходимо, как операция при известных болезнях. Организм заражен, нужно оперировать зараженную часть.

— Так говорит Дикгоф, — иронически добавлял Александр Васильевич.

Аня сердилась, но не могла опровергнуть, что Дикгоф и на нее, как на всю коммуну, имеет огромное влияние.

Правительство вступило в открытую борьбу с анархистами. Введены были снова давно забытые военно-полевые суды, начались аресты. Брали за одну принадлежность к партии. Анархистам пришлось скрываться, и Аня принуждена была переменить имя. По паспорту, который достал ей Алек-

сандр Васильевич, она называлась московской мещанкой Елизаветой Васильевной Прибыловой.

Она оставалась жить в квартире Александра Васильевича; на этом настоял он сам. Во-первых, она не настолько еще окрепла, чтобы приниматься за работу в редакции, да и газета, в которой она служила, была закрыта, а во-вторых, в квартире Александра Васильевича ей было безопаснее. Его знали как человека внепартийного. Несмотря на тревожное время, на то, что по вечерам опасно было выходить на неосвещенную улицу, в маленькой квартирке Цветкова было тепло и уютно. Аня хозяйничала, хотя сама посмеивалась над ролью буржуазной хозяйки, но само ее присутствие успокаивающее действовало на Александра Васильевича.

Однажды вечером они вдвоем мирно пили чай, как в передней раздался звонок.

— Кто бы это мог быть? — удивился Александр Васильевич, но встал и пошел отворять.

Едва он открыл дверь, как в переднюю ворвалась плотная фигура в черном меховом пальто.

— Саша, ты? — проговорила фигура. — Не ожидал? — И заключила его в объятия.

— Дядя!

— Он самый. Не ожидал? И я не ожидал. Удивляешься? Сбежал, братец... теперь нелегальный... политический... Три года тюрьмы за отказ от службы, да года четыре за бегство...

Он служил исправником в одном из уездов.

— Что так?

— После расскажу, устал, — проговорил экс-исправник, снимая пальто. — Веди меня куда-нибудь.

Александр Васильевич привел его в столовую и познакомил с Аней.

— Беглый исправник Спиридон Аркадьевич Цветков, — представился он, щелкнув по привычке каблуками.

Сели к столу.

Исправник выпил сначала три стакана чая, и тогда, наконец, получил способность говорить.

— Три дня к вам от Серпухова ехал, — сказал он. — Три дня! Железная дорога не работает из-за этой проклятой «Анархии», везли ночью, на лошадях. В Царицыне сидел сутки. Содрали пятьдесят рублей.

— Отчего же ты сбежал? — спросил Александр Васильевич.

Аня с любопытством рассматривала этого нового беглеца.

— Как отчего, мой друг? — удивился исправник. — Многие бегут. Побежишь, когда в отставку не выпускают, а на тебя сыплется и сверху и с боков. В нашей губернии сбежали уже три уездных губернатора, шесть полевых губернаторов и с дюжину исправников, считая и меня.

Уездные губернаторы заменили к тому времени уездных предводителей дворянства, а полевые губернаторы — земских начальников.

— Невозможно стало служить — и сбежал. Все бросил...

— Из-за «Анархии»? — улыбнулась Аня.

— Из-за нее-с, сударыня. Занимался сначала проектами об истреблении этого пагубного сооружения, а потом пришлось не под силу. И в тот самый день, как решил я бежать и лошадей себе уже приготовил, пролетело над нашим городом это чудовище. Низко... Людей на нем видел-с. И не стало больше моих сил...

Ты знаешь, — обратился он к Александре Васильевичу, — сын Володя социал-демократом сделался и уехал к Карлосиу, дочь Вера в революционерки записалась и теперь в Петербурге. Был я бобылем, ну, а теперь и нелегальным сделался, — развел он руками. — Тридцать лет службы пропало!

— Что же вы намерены делать? — спросил его Александр Васильевич.

— Переменю имя и буду основывать свою партию. Усы сбрею... За границу бежать — там еще хуже...

— Это тоже закон новой партии усы брить? — пошутил Александр Васильевич, заставив улыбнуться Аню.

— Какой закон? Необходимость... Чтобы «шпики» не узнали. Каково? Исправник — и скрываться принужден... —

Он тяжко вздохнул. — Наше положение нового Щедрина требует... А партия — это совсем другое. Есть у меня в Москве один знакомый, такой же, как и я, горемыка, беглый полевой губернатор, так мы с ним новое политическое учение выдумали.

— Вот как!

— Да-с! — Он хитро улыбнулся. — Отчего же мне, с позволения сказать, и не выдумать своей новой политической системы, если я насквозь пропитан этой политикой? Моя система есть нечто среднее между монархизмом и социализмом. Но так, что будут все довольны... Да-с! Мы разрешили... как это?.. проблемы нищеты народных масс. Одним словом, полная гармония.

— Полицейский социализм? — спросила Аня не без иронии.

Исправник посмотрел на нее одним глазом.

— Нет-с, многоуважаемая гражданка, вы ошибаетесь. Полицейского социализма не может быть, ибо полиция есть ограждение... рамки. Социализм же есть нечто необъятное и по своей необъятности зловредное. Мы взяли из социализма лишь некоторые указания. Маркс раскостил капитал, — но чем обжегся, тем и лечись. В нашем учении базу составляет именно капитал. Правительство является распределительным органом и, при помощи полиции, выплачивает всем подданным жалованье сообразно их труду. Уплата производится ассигнациями, а золото сосредоточивается в государственном банке. Лентяи лишаются жалованья. Полиция следит за трудом всех. Расценка жалованья идет по градации: крестьянину довольно и пяти рублей в месяц.

— Ну, а чем же собираются подати? — спросила Аня.

— Хе-хе-хе... И это не забыто. Натурой-с. Зерном, мехами, хлебом... Как древняя дань. У кого ничего нет — работай. Работай на государство, подлец!

— Так это и теперь делается, — заметил Александр Васильевич.

— Разница. Теперь берут, потому что не платят добровольно. Тогда будут отдавать по закону. Плоды трудов своих. Но разница в чем? Не будет голодных. Все будут обеспече-

ны, не будет и волнений. Крестьянин удовольствуется малым клочком земли, ибо с малого клочка и брать будут немноги, не требуется никакой социализации.

— Ну, а что же будут делать с данью? — спросила Аня.

— Продавать. За границу-с. На золото. Отдавать по расценке в погашение государственного долга. Найдут, что сделять.

— А как с народным образованием? — спросил Александр Васильевич, улыбаясь над этим нелепым проектом.

— Для всех дозволено, но не обязательно. Полная свобода. Академии во всех уездных городах при полицейских управлениях.

Аня и Александр Васильевич разразились хохотом. Не смеялся только исправник. Он смотрел по очереди то на одну, то на другого и, наконец, не выдержал:

— Над чем же вы смеетесь? По-вашему, раз человек носит или носил полицейский мундир, так он и не думает ни о чем, кроме своей службы? Ошибаетесь, господа. Убеждения могут быть различны, — не спорю, но разве в моих взглядах больше утопии, чем в социализме или анархизме?

Он начинал сердиться, но Александр Васильевич его успокоил.

Дядя-исправник ночевал в столовой, а на другой день сбрнул усы и перебрался к беглому полевому губернатору.

XIV

В деревне

«Анархия» исчезла. Продержав почти месяц в осаде всю Россию, она пропала, словно ее никогда не было. Только блиндажи на улицах да свежее воспоминание о падавших с неба разрушительных снарядах заставляли не забывать о ее существовании. Паника понемногу стала проходить. Снова в Москве заработало электричество, опять начал дейст-

вовать метрополитен, циркулировать трамваи, а газеты были полны слухов о гибели изобретения анархистов.

Самый распространенный слух был, что «Анархия» погибла во время бури над Балтийским морем, на дне которого пропала тайна победы человека над воздухом.

Ничего не знала о ее судьбе и Аня, снова вошедшая в сношения с коммуной.

«Просветление» писало громовые статьи. Эта газета, притихшая во время паники, вдруг оказалась органом большинства обывателей. На улицах Москвы появились процесии, почти сплошь состоявшие из черни. Они ходили с флагами и горланили сочиненные поэтами «Просветления» гимны, как будто именно они были победителями страшного воздушного чудовища.

Но электрические пистолеты городовых сдерживали их в некотором порядке.

Александр Васильевич воспользовался наступившим успокоением, чтобы съездить в деревню. Ему нужно было урегулировать отношения с крестьянами по маленькому клочку земли, который достался ему от покойного отца.

Аня осталась в Москве.

Проспав ночь в вагоне, Александр Васильевич утром сошел на маленькой станции, приютившейся на лесной опушке.

Лошади были уже готовы.

Поздоровавшись с кучером, Александр Васильевич сел в сани, запахнувшись шубой, и с наслаждением вдыхал морозный воздух с легким запахом сосны. Тройка взяла добруй рысью.

— Ну, как у вас в деревне? — спросил Александр Васильевич кучера.

— Да ничего, — ответил тот, с улыбкой повернув к Александре Васильевичу свое лицо. — Вчера сход был, приезжал полевой губернатор. Со старостой сцепился. Однако, не по его вышло, наш староста-то сам университет кончил.

— А в чем дело-то?

— Да все насчет земли... Двадцать лет делят, ничего не выходит. Ну, староста-то доказал ему, что земля наша, по-

тому мы на ней работаем. Про Бебеля говорил. Должно быть, к нам приедет. Ну, губернатор-то против Бебеля не смог, уехал.

— А вы знаете, кто этот Бебель?

— Ну, еще бы, — уверенно тряхнул головой возница.

— А все-таки?

— Министр или главноуправляющий. Книжки пишет. Только против него губернатор не смог; потому набольший... власть.

Он подстегнул пристяжную, жавшуюся к саням, и спросил в свою очередь:

— А как у вас насчет воздушного корабля?

— «Анархии»?

— Вот-вот...

— Да, наделала дел... В Москве, как в крепости, жили.

— У нас священник молебен служил об избавлении. Злобятся на анархистов мужики.

Александр Васильевич насторожился.

— За что?

— Бед много натворили. Разве можно? Вон, у вас в Москве в суд хотели бомбу бросить, а попали в дом. В Калужской губернии в дом полевого губернатора бомбу бросили, а вся деревня сгорела. И начальство ведь тоже люди. Так нехорошо... Вон, наш староста — как с полевым бранится-то, а чтобы руками что-нибудь — ни-ни! Тактика нужна мирная, да! — убежденно добавил он.

По дороге они обогнали розвальни, нагруженные связками газетной бумаги.

— Что это такое? — заинтересовался Александр Васильевич.

— «Московские ведомости» да «Просветление» везут, — ответил кучер. — В вашей Москве балуются.

— И крестьяне берут?

— Отчего же не брать, коли даром? Берут. Читать-то не читают, — избы оклеивают. Теплее за бумагой-то...

Александр Васильевич засмеялся.

— А они шлют?

— Шлют. Вот что перед выборами-то еще будет! Наш один, деревенский, шестьдесят пудов газетной бумаги перед прошлыми выборами собрал да продал.

Быстро промелькнули десять верст; на взгорье открылась деревня, церковь, школа штундистов, народное училище, избы... Сани громыхнули по мосту через ручеек и вкатились во двор небольшой усадьбы, встреченные лаем цепной собаки.

Александр Васильевич был у себя дома.

• • • • • • • • •

Вечером Александр Васильевич сидел в кабинете своего покойного отца. Портрет его висел на стене, рядом с портретом деда. Это были представители двух дворянских эпох: процветания крепостной эпохи, эпохи упадка, и новой эпохи — ломки всего прежнего и слияния с народом. Этот народ олицетворял теперь собой староста, Кузьма Егорович, сидевший напротив Александра Васильевича.

Староста был молодой человек, всего года три тому назад окончивший московский университет. На нем была поддевка и высокие сапоги.

— Народ против социализации земли, я в этом убедился, — говорил староста. — У нас есть крестьяне-собственники, которых вы не убедите в этом. Земельный вопрос решит большинство.

— Путем насилия? — спросил Александр Васильевич.

— Путем разумного сознания. Вы читаете газету «Шаг за шагом?»

— Изредка. Я не социал-демократ.

— Там прекрасно освещен земельный вопрос. Существующие условия неотвратимо приведут к этому. Вы можете убедиться в этом на примере отдельных общин. Например, в нашей деревне. Ваша земля должна перейти в собственность крестьян. Как раз на днях у меня был об этом разговор с полевым губернатором.

— Я не прочь продать землю...

Староста продолжал развивать свою мысль:

— Мы вводим семипольное хозяйство, хотим применять фосфористые туки. Нам невыгодно работать на вас: вы получаете не одну аренду, но мы сами увеличиваем цену вашей земли, чтобы потом нам же платить за нее дороже.

— Но позвольте, Кузьма Егорович, я и приехал с тем, чтобы решить этот вопрос. Мне кажется, что мы придем к обоюдному согласию. Но, повторяю, отдать землю, отказаться от нее я не могу. Это не в моих принципах, и я, как вы сами знаете, человек небогатый.

— Завтра я соберу сход. Вы не откажетесь прийти?

— Конечно.

Староста помолчал.

— С нашим сходом довольно трудно ладить, — продолжал он. — Например, в вашем доме я хотел бы открыть библиотеку и народный университет, а другие требуют больницу, которая у нас уже есть, и ясли для детей. Есть даже и такие, которые требуют разломать дом на дрова и разделить между всеми поровну. Конечно, мы этого не допустим.

Разговор перешел на другие темы. Говорили о панике, охватившей страну, об исчезновении «Анархии», о военно-полевых судах, совершившихся при помощи беспроволочного телефона, аппарат которого приносился в камеру заключенного. Ни он, ни судьи не видели друг друга.

В ту же камеру пускался потом сильный электрический ток, — и смерть осужденного следовала мгновенно и неожиданно для него самого.

— Анархисты — наши враги, — говорил староста. — Но когда-нибудь они перейдут к нам, социал-демократам.

— А почему не все вы к нам? — спросил Александр Васильевич.

— Хоть убейте меня, я никак не могу понять, кто вы такой, — засмеялся Кузьма Егорович. — В вас, кажется, всего понемножку.

Они поужинали по-деревенски, курицей и солеными рыбниками, и, проводив гостя, Александр Васильевич вышел на крыльцо.

Была светлая лунная ночь. Алмазами горела и вспыхивала пушистая пелена снега, сверкал иней на ветвях деревьев и ледяных сосульках, нависших с крыш. Луна фосфорическим голубовато-золотым шаром плыла над алмазным лесом. Звездочкой горел крест церкви над темными пятнами деревенских хат. Родиной и тихой прелестью повеяло на Александра Васильевича от этой картины, и ему вдруг стало смертельно жаль своего родового гнезда.

— Свить здесь гнездышко вместе с Аней... работать... пахать землю, как этот староста-студент. Уйти от всей этой суетолоки большого города, от политики, жить в этой тихой простоте и каждый день чувствовать в себе и вокруг себя настоящую жизнь, а в душе — Бога.

Собака звякнула цепью в своей конуре, и Александру Васильевичу невольно пришло на мысль, что и он прикован цепью к своей жизни в далекой Москве, и не оторваться ему от нее, и чужд он и вместе близок тем людям, что живут здесь в темных хатах.

«Бам!..» — раздалось на церковной колокольне, и звонкотягуче поплыло в воздухе и над лесом: «Бам... бам...»

Сторож бил часы. Звуки то замирали, то возрождались с новой силой, и Александру Васильевичу казалось, что звенит сам воздух.

Он долго еще стоял на крыльце, пока мороз не заставил его войти в дом.

XV

Московский погром

После паники, возникшее в Москве новое настроение, под влиянием победы крайних правых, вскоре ознаменовалось кровавым происшествием. Толпы черни, возбужденной агентами Дюлера и Комиссарова, пошли бить анархистов. Начался погром. Аня проснулась утром от глухого шума на улице, в котором явственно раздавались звуки выстрелов.

«Восстание!» — мелькнула у нее мысль.

Она быстро оделась и бросилась к окну.

По улице медленно двигалась, точно текла, толпа. Дом напротив стоял с выбитыми стеклами.

Она поняла: погром!

Зазвенело стекло в соседней комнате и что-то тяжелое ударились о пол. Второе... Третье...

— Бей анархистов! — ворвался дикий крик в комнату.

Медлить было нельзя; приходилось думать о спасении жизни.

— Бей жидов!

— Саши нет! — мелькнуло в голове Ани. В эту минуту ей и хотелось, чтобы Александр Васильевич был с нею, и вместе с тем она была рада, что он в деревне, далеко от всего этого.

Она быстро накинула кофточку, платок и выбежала на двор, оставив незапертую квартиру. Впопыхах она забыла отстегнуть от кофточки черную розетку, с которой вчера была на тайном митинге анархистов.

По двору бегали испуганные люди, которые не знали, что им делать. Некоторые, как на пожаре, выносили из квартир имущество, потом бросали все на снег и в ужасе бежали куда-то. В открытые настежь ворота вбегали и выбегали люди.

Аня бросилась в эти ворота и смешалась с толпой.

Чернорабочий в сдвинутом на затылок картузе бежал вместе с нею; в одной руке у него был железный лом.

— Бей, бей! — кричал он.

На перекрестке была давка. Здесь толпа терзала какого-то несчастного, попавшегося ей в руки. Перед Аней на мгновение мелькнула какая-то серая масса на снегу, в луже крови, от которой шел легкий пар.

У нее вырвался крик ужаса.

— Что кричишь, аль не любо? — бросил ей чернорабочий с ломом в руке. — Всех так перебьем!

— Бей жидов! — закричал он.

— За что? — машинально воскликнула Аня.

— Братцы, жидовка! — не отвечая ей, закричал вдруг он,

схватив Аню за воротник кофточки. — Анархистку поймал!

Несколько рук протянулись к ошеломленной Ане; перед ней мелькнули зверские, злобные, взволнованные лица. Кто-то сорвал с ее головы платок. Она закрыла глаза; она ждала смерти. Точно пропасть открылась вдруг у нее под ногами, и от этой бездны закружилась голова, захолонуло сердце.

«Только скорей бы... Не мучили», — мелькнула мысль.

— Бей! — кричали голоса.

Чернорабочий, схвативший Аню, держал себя как победитель, и оттого, что его жертва не оказывала никакой попытки к сопротивлению, в нем еще больше разгорался кровавый инстинкт хищного зверя.

— Стой, ребята, — закричал он, — моя! Зачем сразу бить? Помучим прежде...

— В реку ее. Потопить!

— В реку, так в реку! Тащи, ребята! — согласился рабочий.

Аню схватили за руки и потащили. Ее черная розетка упала в снег, и ее затоптала толпа; волосы рассыпались по плечам. Морозный ветер бил ей в лицо, играл ее волосами, но Аня не чувствовала холода. Она как бы умерла наполовину. Эти люди, которые с криками влекли ее, казались ей призраками. У нее не было даже ненависти к ним.

Аню протащили мимо храма Христа Спасителя, и толпа, грозно звеня враждебными криками, спустилась на лед.

— Руби прорубь! — кричал кто-то.

Раздались удары топора о лед.

И вдруг вся эта толпа сразу онемела и притихла, разделилась на две стороны, и в проходе появился изможденный человек в полотняном рубище, похожем на рубашку, босой и простоволосый, с деревянным посохом, сделанным в виде креста. Взгляд его глубоко впавших глаз остановился на Ане.

— Что делаете, православные? — спросил он глухим голосом.

Толпа замялась.

— Да вот жидовку поймали... Анархистку, — раздались

нерешительные голоса.

— С бомбой которая! — крикнул голос посмелее.

Чернорабочий, схвативший Аню, бросил лом и стоял без шапки.

— Ну?

В глухом голосе старика прозвенела строгость.

— Прикончить хотели... Потопить, — потупившись, ответил чернорабочий.

— Кто дал вам право это на земле? — строго заговорил старик. — Господь пошлет с неба огонь, и этот огонь пожрет нечестивых... А вы кто? Мразь, пепел перед лицом Господа!

— Максим Максимыч! Максим Максимыч! — раздались в толпе робкие голоса.

Аня узнала его. Тогда, в храме «Чистого Разума», появление сумасшедшего капитана подняло в ней недобroe предчувствие, а теперь радость охватила ее и сразу вернула ей жизнь, вернула сознание.

— Максим Максимович! — вскрикнула она, вырвалась из державших ее рук и бросилась к старику.

Она схватила его за руку, в которой он держал крест, дрожащая, еще не верящая спасению, но уже чувствующая его.

Сумасшедший взял ее за руку.

— Она чище вас! — крикнул он, обводя взглядом толпу, которая не смела протестовать. — Кто из вас смеет бросить в нее камень?

Толпа молчала. Зверских лиц уже не было. Многие поснимали шапки.

Властным движением, перед которым вновь расступилась толпа, он повлек Аню к почти готовой уже проруби, заставил встать на колени и, зачерпнув горстью ледяной воды, он плеснул ею на голову Ани, проговорив:

— Крещу тебя для будущей жизни!

На улицах Москвы еще бушевал погром, с которым тщетно боролись вызванные и превосходно дисциплинирован-

ные солдаты, старавшиеся избегать большого числа жертв, а по набережной, по направлению к Кремлю, двигалась процессия, похожая на религиозную.

Впереди шел Максим Максимович и вел за руку Аню, в распущеных волосах которой сверкали и звенели льдинки, а за ними, без шапок, шла толпа.

Это были те самые люди, которые хотели убить и чуть не убили Аню.

XVI

В келье

Максим Максимович жил в монастыре, в маленькой келье, похожей на тюремную камеру. В ней не было никакой мебели, кроме аналоя и деревянного некрашеного гроба, служившего постелью для нового проповедника.

Монахи дорожили им. С появлением «блаженного Максима» довольно плохие дела монастыря быстро поправились. От поклонников и просто любопытных не было отбоя, в особенности после того, как Максим Максимович стал «прорицать».

Предсказателей вообще расплодилось много. Люди, изврившиеся в хорошем близком будущем, дрожащие за свою судьбу, старались приподнять туманную завесу и хоть немногого заглянуть вперед.

Каждому хотелось узнать: стоит ли ждать, стоит ли жить?

Но все эти «профессора будущего», эксплуатирующие публику, были ничто перед Максимом Максимовичем, явившимся в образе бессребреника и подвижника.

Толпа проводила его и Аню до монастырских ворот и послушно остановилась, когда он махнул своим посохом.

Максим Максимович провел Аню в келью и указал ей на крышку гроба.

— Садись, дочь моя.

Он не узнал ее.

Аня села. Ей было холодно, ее начинала бить лихорадка, но она не имела силы не повиноваться теперь нормальному человеку, который действовал на нее гипнотически силой своей больной воли.

Лед начал таять в ее волосах. Дрожащими руками она выбирала из них тающие льдинки и бросала их на пол. Они разбивались со слабым звоном.

Максим Максимович стоял перед ней, опираясь на свой посох.

— Я нашел тебя. Ты пойдешь отсюда и будешь проповедовать, потому что на тебе благодать. Слышишь ли ты меня?

— Слышу, — прошептала Аня.

— Имеют уши, и не слышат! Глаза — и не видят! — продолжал безумный. — Я открою тебе тайну. Мир погибает, но ты можешь его спасти. Ты дрожишь? Дрожи... это на тебя снисходит еще благодать...

— Максим Максимович, вы не узнаете меня? — попробовала перебить его Аня, но он сделал нетерпеливый жест рукой.

— Се человек, — указал он на себя. — Нет Максимов Максимовичей!

Он поставил в угол свой крестообразный посох, сел перед Аней на корточки и устремил в ее глаза свой блестящий, странный взгляд.

— Слушай тайну... Человечество должно проникнуть всех. Не нужно имен. Все люди... Когда поймут это, настанет царство Божие... Я сходил на землю и говорил людям. Но они не поверили мне и оставили имена. И придумали много новых имен... Много. От этого стало еще хуже, еще больше грехов и страданий. Каждый день рождает новое имя, с каждым новым именем все меньше и меньше человечества. Я говорил это людям, и они... распяли меня...

Он закрыл лицо руками и задрожал от беззвучных рыданий.

Ане временами казалось, что она понимает его, но временами же на нее находило настоящее забытье, в котором она видела ясно только горящие глаза Максима Макси-

мовича и его шевелящиеся губы.

Сумасшедший внезапно открыл лицо.

— Настанет день, — и он даст новое страшное имя, которого не было еще на свете! И мир содрогнется, потому что тогда умрет человечество! Земной шар разорвется пополам и подземный огонь вырвется наружу... И с неба тоже сойдет огонь. В огне погибнет все... Я устал говорить это людям, я ухожу... Возьми крест мой и гряди по мне.

Он схватил свой посох и с силой поднял Аню за руку, заставив ее взять этот посох.

— Да не будет имен, да будут люди! Иди!

Он указал ей рукой на дверь.

Аня полуоткрыла ее, держа в руке посох Максима Максимовича, и еще раз взглянула на своего спасителя.

Он стоял с повелительно вытянутой рукой и устремленным на нее взглядом.

Аня перешагнула через порог и закрыла за собой дверь.

На крыльце ее окружили монахи.

— Посошок свой отдали, — умиленно заметил ей пожилой послушник в замасленной скуфейке. — Взыскал бла-женный...

— Вы им не сродственницей ли приходитесь? — с любопытством осведомился монах в черной камилавке и с седой бородой.

Аня хотела было отдать им посох Максима Максимовича, но раздумала: пусть он останется ей на память о ее спасении.

— Вы бы, сударыня, зашли в трапезную, пообогрелись да покушали, — продолжал монах, осведомлявшийся, не родственница ли она Максиму Максимовичу, — а потом отец-настоятель вам экипаж дадут, домой вас доставить. А то как бы опять чего не случилось.

— А это... кончилось? — спросила Аня с дрожью в голосе.

— Погром-то? Как будто тихо стало... Не стреляют... Наказание Господне. Истинно последние времена приходят из-за анархистов этих самых; мы их «антихристами» зовем по-нашему, по-монастырскому... Капищ понастроили. Ис-

тинно, грех великий!

Словоохотливый монах оказался, однако, любезным хозяином. В трапезной Аня кое-как привела в порядок свою голову, ей достали даже платок и в монастырской карете отправили домой.

Улицы были пусты. Попадались только конные патрули да отряды полицейских и солдат. Дома стояли с сорванными дверями и выбитыми стеклами, на тротуарах валились вывески разгромленных магазинов. За Москвой-рекой виднелось зарево и клубы густого дыма.

Но монастырскую карету никто не остановил, и Аня благополучно добралась домой.

XVII

На северном полюсе

Москва не успокоилась, хотя после погрома наступило какое-то странное оцепенение. Точно люди с ужасом открыли, наконец, глаза на то, что они натворили, и замолкли перед неизбежным возмездием.

В оцепенении была и Аня. Почти чудесное избавление от смерти, странная сцена в келье — все это подействовало на нее угнетающе, и она напрасно старалась вернуть себе прежнюю бодрость духа. Ее все настойчивее и настойчивее сверлила мысль: через какие ужасы нужно еще перешагнуть по пути к свободе?

Александру Васильевичу она послала коротенькую телеграмму успокоительного содержания и получила от него ответ. Он обещал быть через три дня. Аня не выходила, кое-как устроившись в разгромленной квартире, но на другой день к вечеру к ней пришла Горянская, уже знавшая какими-то судьбами о новом происшествии с Аней.

Уже немолодая женщина, остиженная по-мужски и в полуимужском костюме, с черными усиками на верхней губе, Горянская была похожа на солдата в юбке. На всех митин-

гах она была самым горячим оратором, сотрудничала в «Анархисте» и гордилась тем, что двадцать лет назад ее отец был повешен за экспроприацию.

— Хороши эти мужчины, — заговорила она негодующе, мельком поздравив Анию с чудесным спасением. — Только мы, женщины, можем всецело отдаваться идее и настойчиво идти к намеченной цели. Вы знаете, как отличился Дикгоф?

— А он явился? — спросила Ания.

— Конечно. Он изволил слетать на Северный полюс и благополучно оттуда вернулся. Как это вам нравится?

— Это гениально! — вырвалось у Ани.

— Это подло, вот что! Бросить нас одних на произвол судьбы... Будь «Анархия» на месте — не было бы погрома. Еще две-три недели осады — и правительство должно было бы сдаться. Это измена. Я буду требовать суда над Дикгофом! Сегодня заседание во всех коммунах. Вы непременно долеши прийти. Вместе и отправимся.

— А как на улицах? — робко спросила Ания.

Горянская посмотрела на часы:

— Через два часа над Москвой снова появится «Анархия». Все попрятутся. Никто не задержит нас на улице.

Действительно, в сумерки во всех участках Москвы началась тревожная электрическая сигнализация. Погасли фонари, погас огонь в окнах домов. А на темном фоне неба ярко загорелась, медленно плавая над Москвой, звезда электрического прожектора, за которой тянулось длинное черное тело. Это была исчезнувшая и вновь появившаяся «Анархия». Гул от гудения ее крыльев наполнял воздух и, по мере того, как она описывала в воздухе широкие круги, яркая полоса электрического света скользила по площадям и улицам темной Москвы, наводя ужас на все живое.

Громыхнула у Кремля из окопов первая мортира, потом вторая, третья; началась правильная канонада, как в осажденном городе. Артиллеристы стреляли в воздушного врага, но этот враг не обращал никакого внимания на их выстрелы. «Анархия» не отвечала.

Редко, прячась у стен домов, пробегали по улицам одиночные люди и среди них были Ания с Горянской.

Они шли на Покровку, к дому Светочева.

• • • • • • • • •

Помещение квартиры было наполнено людьми. Аня и Горянская, получив от секретаря билеты, с трудом пробрались в зал, где в это время уже говорил оратор.

Аня слышала только отрывочные фразы: «Преступление... упущен момент... надо начинать сызнова»... Гудение голосов заглушало слова оратора.

Она догадалась, что оратор говорит против Дикгофа, этого человека, сила воли которого действовала на нее неотразимо.

— Да, да! Момент упущен! — крикнула возле нее Горянская.

— Товарищи, вы хотите суда надо мной? — раздался голос, покрывший общий гул, спокойный и твердый, «стальной», как говорили о голосе Дикгофа.

— Да, да! Конечно! — раздались голоса.

— Мы признаем ваши заслуги, но вы такой же член коммуны, как и все! — крикнула Горянская. — Да здравствует равенство!

— В таком случае, выберите судей, — продолжал Дикгоф.

— Мы все судьи! Все! — раздались голоса.

— На баллотировку! — крикнул кто-то.

— Выбрать председателя!

Аня молчала. Ей казалась нелепой вся эта комедия: иначе она не могла относиться к суду над человеком, гениальность которого могуче поднималась над толпой всех этих людей, способных только быть в стаде. И подчинение этого гения шумевшему стаду только еще более поднимало его в ее глазах.

«Он герой», — подумала она и взглянула в это время на Горянскую. Та стояла с покрасневшим лицом и сверкающими глазами, всей своей фигурой выражая негодование.

«Неужели даже Горянская считает в данную минуту се-

бя выше его? — невольно подумала Аня. — Считает, что она имеет право судить его?»

— Хорошо, пусть выберут председателя, — отвечал спокойный голос Дикгофа.

Снова начался шум и общие крики. Избранным, в конце концов, оказался старик с незнакомой Ане физиономией. Неизвестно, почему выбрали не другого, но именно его, однако, это избрание встречено было общими рукоплесканиями.

Старика поставили на стул.

— Товарищи! — начал он и обвел глазами собравшихся.

Отдельные голоса начали стихать. Мало-помалу наступила полная тишина. От отдаленных орудийных выстрелов тихо звенели стекла в оконных рамах.

— Товарищи, — продолжал старик, протянув руку по направлению к окну. — Это стреляют по «Анархии». Этим могучим оружием в наших руках мы обязаны товарищу Дикгофу. Но, дав его нам и начав наше общее дело, он преступно, не объявив никому, исчез вместе с этим могучим оружием, бросив нас на произвол судьбы. В этом его вина, его преступление перед всей коммуной, перед анархистами всего мира! Я воздаю должное его гению, его заслугам, но, как председатель суда, выбранный вами, должен сказать: Дикгоф заслужил смерть!

Аня вздрогнула. Она не ожидала этого. Она с ужасом смотрела на старика с протянутой рукой, который казался ей ужасным. Это был фанатик, ослепленный жрец, сумасшедший, и Аня невольно сравнивала его с Максимом Максимовичем.

Гробовая тишина была ответом на эти страшные слова. Наконец, чей-то голос произнес:

— Нужно дать слово Дикгофу.

— Слово Дикгофу! Пусть говорит! — ответили другие голоса.

Старик сошел со стула. На его месте появился Дикгоф. Его лицо было спокойно.

— Товарищи, — начал он обычным уверенным голосом, каким привык говорить в этой же комнате. — Я подчинюсь

вашему решению, какое бы оно ни было. К речи избранного вами председателя я прибавлю еще одно. Я знал, что я делал, я сознательно шел на преступление, я знал, что могут быть жертвы, но я был не в силах побороть мое стремление, не в силах был оторваться от магнита, который влек меня в таинственную страну, к Северному полюсу.

Я был там — первый из людей. В зените земного шара я водрузил наше знамя, на котором горит надпись: «Свобода». Увенчанная этим знаменем Земля гордо понесется теперь в пространство, навстречу неизвестному.

И сознание того, что это сделано мной, я готов купить ценой моей жизни.

Назовите меня преступником, но назовите и мечтателем. Я был им всегда. Работая всю жизнь над идеей летающей машины, я увлекался мыслью, что когда-нибудь моя нога ступит на неизвестную землю, в которой скрыт таинственный закон магнитного влечения и над которой полгода не заходит солнце. Там, в этой волшебной стране вечного дня, я поставлю знамя свободы и оповещу об этом на весь мир. И, повинуясь закону таинственного магнетизма, пусть всему человечеству указывает путь к этому знамени магнитная стрелка.

Он смолк ненадолго, и в наступившей тишине пронесся гул одобрения. Аня раскраснелась; она была взволнована, потрясена.

Дикгоф продолжал:

— Победив воздух, я вначале стал выполнять выработанный нашими организациями план. Но, уже близкий к победе над рабством, я сам оказался рабом моей заветной мечты. И вот однажды, поднявшись на громадную высоту над землею, среди бездны звездной ночи, я направил корабль туда, куда указывала магнитная стрелка.

Я полетел на север.

Над нами всходило и заходило солнце, и с каждым днем все скорее и скорее показывалось оно из-за темной туманной земли. Вечный день горел впереди. Подо мной засверкали льды океана. Я не в силах был уже вернуться. И я и

мои спутники решили лучше умереть, чем отказаться от нашей цели.

И настал день: прорезав кристальной чистотой сверкавший голубой воздух над свободными от льда пурпурными волнами океана, «Анархия» опустилась на таинственную землю полюса, названную мной землей Свободы. Эта земля никогда не слыхала стона раба, лязга цепей, сурогого окрика тюремщика. На ней от века в сиянии вечного дня царила вечная свобода. Я достиг цели моего паломничества и вернулся к вам обновленный, но с сознанием моей вины перед делом свободы, здесь, в этой юдоли борьбы. Делайте со мной, что подскажет вам совесть и долг. Я кончил.

Он медленно наклонил голову, но не успел еще сойти со стула, как нервный крик сразу нарушил наступившую тишину:

— Товарищи! Неужели мы осудим на смерть героя?!

Это крикнула Аня. Она не могла сдержать себя. Схватив за руку Горянскую, она в нервном экстазе до боли сжимала ее и продолжала что-то кричать, теряя свой голос в общем гуле поднявшихся криков.

— Снять обвинение! Невиновен! — гремели эти крики.

XVIII

Жребий брошен

Не скоро все утихло. Напрасно избранный председателем, недавно еще подсудимый Дикгоф приглашает перейти к порядку дня: присутствующие не могли успокоиться.

Почти всех охватила особенная экзальтация.

Тroe или четверо недовольных общим решением, но подчинившихся ему, собирались в углу и обменивались недовольными фразами, но эта небольшая кучка пропадала в общей радостной массе.

Среди недовольных был и старик, обвинитель Дикгофа.

Все чувствовали себя хозяевами страны Свободы, завоеванной Дикгофом. Эта была земля для многих, даже для множества, была по-прежнему недостижима, она была пустыней, которую только на миг оживило присутствие человека, но, тем не менее, эта была первая страна, безраздельно, без спора и борьбы, действительно принадлежащая анархистам.

— Они готовы выбрать Дикгофа императором Северного полюса, — брюзжал старик. — Я, как старый анархист, не желаю допускать такого усиления его авторитета! Он должен быть таким же, как и все! Коммуна должна заставить его подчиняться себе.

Эти слова были брюзжанием ограниченности, завистью перед гением другого, но его не слушала даже Горянская.

Дикгофу жали руки, его поздравляли, и он так же спокойно принимал эти поздравления, как и недавние обвинения.

С трудом, наконец, воцарилась тишина.

Тогда заговорил Дикгоф:

— Товарищи! — сказал он. — «Анархия» с завтрашнего дня начнет действовать усиленнее, чем прежде. Но мы должны подвергнуть нашему мщению тех лиц, которые были виновны в этом погроме. В коммуне есть уже о них точные сведения: это Синицын и граф Дюлер.

— Я думаю, этим господам уж не удастся оправдаться, — бросил из своего угла старик.

На него зашикали, и он смолк.

— Смерть! — раздался чей-то голос. Он прозвучал как-то робко и неуверенно.

Но его тотчас же покрыли общие крики:

— Смерть! Смерть!

Около Дикгофа появилась Горянская. Ее лицо опять пыпало.

— Преступление этих господ — преступление против всего человечества, против мировой свободы! Я предлагаю сея в исполнительницы! Я брошу бомбу!

— Нет, нет! Бросим жребий! — раздались голоса.

— Я тоже стою за то, чтобы бросить жребий, — сказал Дикгоф. — Это правильнее. Все мы готовы пожертвовать собой для общего блага, и в данном случае уступка Горянской будет привилегией. Кроме того, необходимы два человека, так как преступников двое, а для исполнителя нашего приговора слишком мало шансов остаться в целости.

— Прекрасно, бросим жребий! — согласились те, кто стоял ближе к Дикгофу.

Аня стояла помертвевшая. Нервное оживление схлынуло с нее. Здесь говорили об ее отце, как о преступнике, ему произнесли смертный приговор, и она сама не могла оправдать его; но то, что она сама должна была принять участие в жеребьевке, решающей участь и ее и отца, — это наполняло ее содроганием.

— Синицына, пишите на бумажке вашу фамилию и бросьте сюда, в шапку! — крикнула ей Горянская. И теперь ее собственная фамилия почудилась Ане оскорблением, окрик Горянской хлестнул ее, как бичом.

— Уйти! — мелькнула мысль, но она стояла, точно прикованная, изменившаяся в лице.

Как перед пропастью, от которой нет силы оторвать глаз, в которую тянет, а на дне ее ждет гибель.

Но в эту минуту Аня почувствовала на себе холодный и тяжелый взгляд Дикгофа, и прежде всегда смущавший ее, а теперь приковавший к себе ее волю.

Машинально, как автомат, она взяла из рук Горянской клочок бумаги и написала на нем свое имя и фамилию.

На столе лежала чья-то мужская шапка, рыжая, с обтрапанными полями, и Аня швырнула туда свой билетик, который она нервно скатала в комочек. Перед этой шляпой прошла вся коммуна, женщины и мужчины, молодые и старые, и на всех лицах лежала суровая и вместе тревожная решимость.

Дикгоф взял шапку и потряс ее.

— Кто будет вынимать жребий? — спросил он. — Я думаю, чтобы не тянуть времени, первый вынутый билет и укажет нам лицо, которое должно принять в свое ведение, ну, хотя бы... Синицына. Кто будет вынимать билеты?

— Я! — выдвинулся из толпы еще совсем юный молодой человек, почти мальчик. — Я готов идти и без жребия!

И он с самоуверенностью молодости обвел присутствующих взглядом.

— Вынимайте, — спокойно приказал ему Дикгоф.

Юноша опустил руку в шапку и вынул белый комочек. У Ани замерло сердце: ей показалось, что это ее билетик.

— Я убью себя! — мелькнула у нее мысль.

А комочек, как нарочно, долго не развертывался, хотя его усердно теребили нетерпеливые пальцы.

— Скорее! — не выдержал кто-то.

— Васильев! — прочел, наконец, юноша.

Из толпы, расталкивая ее, вышел лохматый человек в кожаной шведской куртке, остановился посередине и тряхнул головой.

— Я готов! — сказал он коротко.

Это был техник. Всего несколько дней он был принят в коммуну.

Он стоял теперь рядом с Аней. Будущий убийца ее отца, но она не чувствовала ни ужаса, ни отвращения от его близости; она была полна одним сознанием:

— Не я!

Дикгоф пожал руку обреченному молча: говорить было не о чем.

— Не мне досталось, — с разочарованием произнес юноша. — Ну, что скажет второй?!

Он снова опустил руку в шапку и вынул билетик, и опять у Ани дрогнуло и замерло сердце, но уже не прежней болью.

На этот раз юноша быстрее развернул билетик и прочел:

— Анна Синицына!

— Странное совпадение! — сказал кто-то в толпе и смолк, поняв нетактичность своей фразы.

— Не понимаю... Какую же роль может играть буржуазное родство? — пробормотала Горянская. — Все — для идеи. Поздравляю вас! — подошла она к Ане.

— Я? Мой? — ответила ей точно проснувшаяся Аня. У нее побелели даже губы.

— Если вы чувствуете себя неспособной, вы можете отказаться, — заметил ей Дикгоф. — Охотники найдутся.

— Я первый! — вызвался юноша.

— Какой позор! — крикнула Горянская. — Как вам не стыдно, Дикгоф! Ведь это будет против нашего устава.

— Но мы должны обращать внимание и на фактическую способность лица довести до конца возложенное на него поручение, — ответил ей Дикгоф.

Но Аня уже успела оправиться. У нее стучало в висках, но она нашла в себе силы сказать:

— Я принимаю поручение коммуны!

— Шарлотта Корде! — крикнул в восхищении юноша.

— Мстительница! — заметил кто-то другой.

И ей, как Васильеву, Дикгоф пожал руку, до боли, как товарищу.

— Анархистка победила в вас женщину, — сказал он ей.

Аня вскинула на него глазами, но этот беглый взгляд был тускл; Аня крепилась, но близок, казалось, был тот момент, когда разом могли лопнуть натянутые, как струны, нервы.

Товарищи молча жали руки и ей и Васильеву, но вскоре Васильева пригласили в отдельную комнату, куда вместе с ним ушли двое лиц, на обязанности которых была организация покушений.

Вторая очередь была за Аней.

Совещание коммуны продолжалось, но Аня уже не участвовала в нем. Она вышла в другую комнату и забылась, присев на диванчик в каком-то оцепенении.

Чувство партийной дисциплины, гипнотическое влияние на нее Дикгофа, наконец, убеждение в необходимости жертвовать собой ради идеи — все это сильно влияло на ее решимость, но эту решимость колебало воспоминание об Александре Васильевиче, который так стремился к ней из деревни, и отвращение к крови.

«Когда будут убивать отца, я буду готовиться быть убийцей», — копошилась назойливая мысль, которую она не могла отогнать.

На нее надвигался красный кошмар, и она желала, чтобы брошенная ею бомба разорвала бы ее первой.

Вся ее прошлая жизнь проносилась перед ее глазами. Мать, отец... но странно, она не чувствовала любви к ним, этим занятым только собой людям, но у нее мучительно сжалось сердце, когда она представила себе вместо отца бесформенные и окровавленные куски человеческого мяса и обезумевшую от потрясения и ужаса мать.

«А если они уедут? — мелькнула у нее мысль. — Ведь этого не будет? Но кто предупредит отца? Я?»

И она задрожала от охватившего ее опять волнения и страха.

Если бы с ней был теперь Александр Васильевич, Аня сделала бы так, как сказал бы ей он. Отдала бы себя в его волю, несмотря на коммуну, на опасность быть убитой за измену. В эту минуту она чувствовала и понимала, как она любит его, но его не было. Она была одна.

В комнате никого пока не было. Из-за двух прикрытых дверей доносились до нее спорящие голоса, и вот будущая исполнительница воли страшной и тайной коммуны стала плакать в своем одиночестве, как плачут только дети.

XIX

Что делать?

Перед Аней стал роковой вопрос: что делать? Она не могла оставаться спокойной, зная, что ее отцу угрожает смерть, а с другой стороны, — она была связана общей клятвой и общей тайной.

Она получила инструкцию, получила две бомбы, заряженные анархирием. Одна бомба, в виде пуговицы, была на особой пряжке прикреплена к рукаву ее кофточки, другая, в виде броши, на груди. Обе были поставлены на предохранитель.

В коммуне же Ане показали, как надо бросать их в сидящего, идущего и бегущего человека. Ее заставили проделать опыты с простой пуговицей. Демонстрировал опыты сам Дикгоф и сказал Ане на прощанье:

— Вы великолепно работаете. Я уверен, вы отомстите за правду!

Он крепко пожал Ане руку, и его спокойное и бесстрастное лицо с глазами магнетизера не позволило сорваться с губ Ани робкому вопросу:

— А если я не найду в себе силы?

А этот вопрос был в ней, она уносила его с собой, в одинокую квартирку, где ее ждало тяжелое и мучительное раздумье.

Она бежала по темным улицам Москвы, забыв об опасности и машинально приглядываясь к светлому снопу проектора «Анархии», который бороздил темный воздух над Кремлем.

Ярко, словно звезды, вспыхивали в этих лучах золотые купола кремлевских соборов, сверкал белый столб колокольни Ивана Великого, а снизу, из тьмы, вырывались молнии электрических мортир и громовые удары сотрясали воздух.

«Анархия» не отвечала, словно издеваясь над бессилием противника.

На Театральной площади был огромный блиндаж, в котором стоял батальон солдат. Там не пропускали никого, и Аня побежала по Кузнецкому переулку.

Тень человека пересекла ей дорогу. Аня остановилась. Остановился и человек. Чувство самосохранения заставило Анию протянуть руку к бомбе-брошке.

— Если он нападет на меня, тогда... — подумала Аня, с испугом сама оборвав свой мысль.

— Кто идет? — раздалось из темноты. Голос нарочно был грубее, чем он должен был быть, но Аня уловила в нем знакомые ноты.

— Прохожий, — ответила она нерешительно, и вдруг у нее исчезло всякое сомнение. Ее точно осенило. Она отдернула руку от смертоносной брошки и вскрикнула:

— Саша, это ты?!

— Я! Ну, конечно, я! Как я мог тебя не узнать? — ответил и он радостным криком.

Они бросились друг к другу, забыв все, живые одной этой минутой.

«Я его люблю! Очень!» — подумала Аня, упав ему на грудь.

Он пробормотал, несвязно, покрывая поцелуями склонившуюся к нему дорогую головку:

— Бросил все, приехал... Какое-то беспокойство томило... Опять эта «Анархия». Поезда, говорят, станут. Не мог ждать. Приехал, а тебя нет. Догадался, что ты «там», побежал на встречу...

Это «там» вывело Аню из нахлынувшего на нее сладкого полузабытья.

Она решительно оттолкнула его от себя.

— На мне бомба, — проговорила она, стараясь освободиться от его рук. — Это опасно, милый!

У нее вспыхнула мысль, что бомбу от неосторожного обращения может взорвать, и вместе с нею погибнет и он.

Он точно понял ее мысль и ответил на нее:

— Мне и погибнуть с тобой вместе — счастье!

— А я не хочу, чтобы ты погиб, — ответила она, выскользнув из его рук. — Гибель без пользы — несчастье!

— Но зачем с тобой бомбы? Зачем? — тревожно спросил он, догнав ее и взяв за руку. — Неужели ты должна...

Он не договорил.

Она шла, стараясь не поворачивать к нему головы, точно боясь, что и в темноте он заметит тревогу и волнение на ее лице, чувствуя на себе его вопросительный взгляд.

Она была не в силах, не могла сказать ему правды.

— Это... для самозащиты. Нам всем раздали, — солгала она, сама краснея за свой ложь.

— Для самозащиты? — переспросил он с недоумением и спохватился, ведь она не могла сказать ему неправды. — Я и забыл сейчас, что в Москве был погром, — добавил он извинительным тоном.

— Ну, скорее домой! — бодро проговорил он. — Там снимешь и спрячешь свои смертоносные «пуговицы», — так он в

шутку называл бомбы. — Скорее. Теперь опасно прогуливаться по улицам. Слышишь?

Издалека донеслась дробь ружейных выстрелов.

— С тобой мне не страшно! — ответила она.

Вдвоем они скоро добрались до своей квартирки, не встретив на улицах ни души.

В единственной комнате этой квартирки, оставшейся целой после погрома, горела лампа, так как электрические провода везде были порваны, да к тому же электричество не работало теперь во всей Москве.

Их ожидала жена швейцара, заменявшая Александру Васильевичу теперь прислугу.

— Барышне телеграмма, — сказала она, подавая Ане бумагу.

Она никак не могла назвать Аню по имени и отчеству, как этого та требовала.

Аня нервно схватила телеграмму, разорвала ее и прочитала ленты. Телеграфировал отец. Аня угадала это сразу.

«Выехали с матерью на лошадях в Ригу. Далее в Америку. Брось заблуждения и приезжай в Нью-Йорк. Последний призыв. Деньги, пять тысяч, подземный банк Юнкера».

— Слава Богу! — вырвалось у Ани с облегчением.

— Ты рада? Да? — оживленно спросил Александр Васильевич, пробежав телеграмму. — Ты моя, Аня!

— Рада, — ответила она серьезно, но слегка краснея от того, что он неверно понял ее радость. «Если бы и граф уехал с ними», — подумала она. Конечно, «там» она ничего не скажет.

Она свернула телеграмму в трубочку и сунула ее в стекло лампы. Накалившаяся бумага вспыхнула и загорелась ярким пламенем.

— Вот так, — сказала Аня, бросив пепел на пол. — Теперь все кончено!

— И началось, — многозначительно добавил он.

— Да, началось, — ответила она.

«Дюлер не уехал», — мелькнуло предчувствие.

Прислуга ушла, оставив их одних. Аня села на кушетку, а он на пол, у ее ног, положив голову к ней на колени. Он

любил так сидеть, когда она тихо гладила его голову, захватывая мягкой ладонью часть его лба, а он, шутя, ловил эту ладонь губами.

Так было и теперь. Он рассказывал ей свои деревенские впечатления, свои тревоги, свои мечты — ночью, под медленные звуки колокола над снеговой равниной и алмазным лесом.

— Там мне хотелось тебя, — говорил он. — Я испытывал какое-то странное чувство, которое не передать словами. Это чувство было смесь любви к тебе, жажды жизни и вместе тоски по жизни. Что-то и грустное, и ласкающее, и хорошее, от чего в одно время хочется и смеяться и плакать. Ты испытывала это?

— Да, — ответила она шепотом. Ей хотелось плакать теперь, но она сдерживала себя.

— А меня чуть не убили здесь, — сказала она. — Да... не волнуйся, — заметила она, когда он порывисто поднял голову и посмотрел на нее испуганным взглядом.

И она насилино положила его голову опять к себе на колени.

— Меня спас Максим Максимович, — продолжала она, передавая мало-помалу все свои заключения вплоть до приезда из монастыря.

— Дорогая! Бедная моя! — говорил он, покрывая поцелуями ее руки. — Ты знаешь, я начинаю верить в фатальную роль Максима Максимовича в нашей судьбе. Он предсказал тебе новую жизнь. Это будет жизнь со мной. Жизнь для счастья, Аня, — проговорил он. — Мы не уйдем с тобой от людей, не замкнемся в скорлупу нашего счастья, но мы не будем с теми, которые идут к призрачным идеалам какой-то вседовлеющей свободы через смерть и трупы. И победят, Аня, не те, которые против нас, а те, которые будут с нами. Что с тобой? — спросил он тревожно, услыхав ее тихие, почти беззвучные рыдания.

— Ничего, милый, — ответила она, лаская его. — Я просто рада, что ты со мной.

«Я не в силах сказать ему, — подумала она в то же время. — Я не могу. Но что же мне делать? Что?»

— Ну, и не будем больше разлучаться! — восторженно ответил он, приподнимаясь и привлекая ее к себе. — Зачем же нам разлучаться? Право, над нами навис какой-то тревожный фантом, но разве мы не в состоянии освободиться от него, разве мы не в силах это сделать? Разве мы не свободны, Аня?

— Конечно, — ответила она нерешительно, превозмогая тупую сердечную боль. Ей не хотелось тревожить его. Она боялась думать и все-таки думала о «том», что ждало ее впереди, и в ней бессознательно складывалось решение уйти от него завтра, исчезнуть, оставив ему письмо-исповедь.

А теперь она не могла отпустить его от себя. Он был с нею. Последний раз. Только теперь она чувствовала, как любит его.

И когда он поднялся, чтобы уйти и оставить ее одну, она привлекла его к себе и стыдливым шепотом едва промолвила:

— Останься!

XX

Роковая минута

Над Москвой проснулось чудное сияющее утро. Напуганные ночными ужасами москвичи робко выползали из домов на улицу и смотрели на небо, боясь увидеть на нем черную полоску воздушного корабля, парящего на недосягаемой высоте. Но над крышами домов носились только стаи голубей и весело смеялось солнце.

Опять все было спокойно и мирно, но эти антракты тишины еще сильнее действовали на воображение обывателей, болезненно взвинченное ночных событиями.

Анархисты действовали, как опытные противники: эти антракты были одним из рассчитанных ими маневров. В эти проблески тишины из подземных участков, из блиндажей и казематов, из нор, где скрывалась полиция, «шпики»

и всевозможные охранители и агенты, они выползали наружу и наводили на мирных граждан страх и трепет.

Арестовывали по простому подозрению, заключали в подземную тюрьму, в камеру, ставили телефонный аппарат, из которого раздавался голос председателя невидимого суда, и через какие-нибудь четверть часа звучал приговор.

Из этих камер не выходили. Для арестованного почти не было шансов увидеть снова людей и солнце.

Все это создавало страшный антагонизм между правительством и обществом, толкало общество к борьбе. Революция казалась неизбежной.

Невидимые судилища прозвали «коллегией палачей». Печать молчала. Только рептилии восхваляли эти меры и требовали массовых и публичных казней. Вновь рекомендовались пытка, застенок и сжигание на кострах. Анархистов, тех требовали варить в смоле на Красной площади.

Но и прогрессивная, и рептильная печать одинаково, хотя и с разных точек зрения, обсуждала проект, недавно утвержденный в кабинете министров, о сооружении новой «подземной Москвы». Прогрессивные газеты печатали громовые статьи о сдаче этого грандиозного предприятия с подряда совершенно неизвестному, но пронырливому человеку, втершемуся в доверие к одному из министров, и замечали, что перед новой панамой должно побледнеть гремевшее когда-то дело Лидваля. Рептилии возводили этого подрядчика в герои и утверждали, что в «подземной Москве» уже невозможна будет никакая крамола:

«Так, наконец, будет обуздан дух своеволия, который наши крикуны называют свободой».

Веселое утро не могло успокоить Аню. Сегодня должно было свершиться то, что было назначено вчера. Смерть после первых ласк любимого человека. В золотых лучах солнца Ане чудилась черная пелена смерти. Она трепетала от скрытого ужаса, но не своя, а чужая воля заставляла ее идти все вперед, к роковой грани.

Принятое еще вчера решение созрело в ней крепко: она ничего не скажет мужу. Уйдет, исчезнет, оставив ему записку.

«Он молод, он перенесет это, — думала Аня, — жизнь возьмет свое, а время залечивает всякие раны».

Она представляла себя уже мертвой, и ее наполняло острое чувство жалости и к нему и к себе.

Странное состояние жены не укрылось от Александра Васильевича, но он приписывал это перенесенным волнениям, своему неожиданному приезду, перевороту, сразу изменившему их жизнь, связавшему их друг с другом.

Он смотрел на жену с чувством глубокой нежности, клянясь в душе отдать себя всего дорогому существу.

Они думали друг о друге, но у одного в мыслях была одна только жизнь, а у другой — смерть.

Все устраивалось как будто бы нарочно так, чтобы облегчить Ане исполнение ее плана: Александру Васильевичу нужно было уехать по делу, и он сообщил об этом Ане.

— Конечно, поезжай, — ответила она, стараясь придать голосу спокойный оттенок.

— Ты, конечно, будешь меня ждать? Ты никуда не пойдешь? — спросил он.

— Нет... Я, вероятно, уйду, — ответила она нерешительно.

— Только не ходи «туда», — произнес он умоляюще.

— «Туда» я не пойду, — ответила она, опустив голову.

«Отчего она такая?» — подумал он опять, но вместо вопроса привлек ее к себе и поцеловал в губы.

И она, вскинув ему на плечи свои тонкие руки, стала быстро и горячо отвечать на его поцелуи.

Она прощалась с ним, а он ушел от нее счастливый, с закружиившейся головой, гордый сознанием ее любви и достигнутого счастья.

Он ушел — и сразу все изменилось в комнатах. Аня упала на стул, заломила руки и задрожала от рыданий.

Так прошло несколько минут; Аня, наконец, овладела собой. С лихорадочной торопливостью, словно боясь передумать, она взяла первый попавшийся лоскуток бумаги, карандаш, и ее рука, вздрагивая, быстро забегала по этому лоскутку, оставляя за собой неровные строчки.

Аня оставила готовую записку на столе, надела коф-

точку, кое-как приколола шляпку и выбежала на улицу.

На крыльце она на секунду остановилась, хотела было взглянуть в последний раз на их квартирку, но пересилила себя и быстро пошла по тротуару.

«Меня уже нет, я мертвая!» — подумала сна.

По выработанному плану, Аня должна была проникнуть к графу, пользуясь знакомством с ним.

Она должна была показать себя кающейся, просить покровительства и бросить бомбу.

Это был коварный способ, и Аня возмутилась против него, но Дикгоф холодно и серьезно доказал ей, что в борьбе на жизнь и смерть, которую ведут они, хороши все средства, и что иначе трудно будет усыпить подозрения графа, который был известен своей осторожностью.

И таково было его влияние на Аню, что она слепо подчинилась выработанному плану.

Впрочем, ее поддерживала теперь одна мысль.

«Может быть, граф уехал вместе с отцом. И тогда, — думала Аня, — уехать из Москвы... С Сашей... Отдохнуть... Забыть на время все».

Только теперь она почувствовала, как она устала, как надломили ее организм все обрушившиеся на нее невзгоды.

Но отдохом будет смерть. Ее ледяное дыхание уже коснулось Ани. Аня решила, что бросит бомбу так, чтобы она убила и ее. Она не хотела видеть крови, пролитой ее рукой. Одно движение — и все кончено.

Граф жил на Спиридовонке. Он давно перебрался из квартиры в глубокий и просторный земляной блиндаж, конусообразная крыша которого выделялась на дворе маленькой пирамидой. В блиндаж вела лестница с окованной железом дверью, которая всегда была на замке.

После двух покушений, направленных на его особу, граф превратился в добровольного затворника и боялся даже выходить на двор, сносясь с редакцией по телефону.

Его окружали несколько человек, которым он доверял.

Аня шла медленно, но, когда очутилась перед запертыми решеткой воротами, за которыми виднелась пирамидальная крыша блиндажа, ей показалось, что она перенес-

лась сюда в один момент.

Она остановилась. Мимо нее прошел патруль, которым командовал какой-то молодой офицер, пристально посмотревший на Аню, но она безучастно посмотрела и на него, и на солдат, и не подумала даже, что ее могут арестовать.

Собравшись с силами, она надавила кнопку электрического звонка. Долго никто не показывался на дворе. Наконец, из-за угла дома появился дворник и спросил, не отпирая решетки:

— Вам чего?

— Мне нужно видеть графа! — ответила Аня.

— Графа нет дома, — сказал дворник.

— Не может быть! Я знаю, что он дома! — твердо произнесла Аня, сама удивленная этой твердостью.

— Дома или не дома, а видеть его нельзя! — стоял на своем дворник.

— Меня он примет... Он знает меня. Я дочь Андрея Владимировича Синицына.

— Синицына мы знаем, — ответил дворник. — Ну, подождите, я доложу секретарю.

Он подошел к блиндажу, и по его походке было видно, что он все еще колеблется.

Аня с волнением смотрела на его удалявшуюся фигуру. Он позвонил и скрылся за отворившейся и вновь захлопнувшейся дверью.

Аня прислонилась к решетке; у нее подгибались ноги и кровь, как молотом, била в виски.

«Я не могу», — билась в ее голове неотвязная мысль. В ушах стоял звон.

Прошло довольно продолжительное время, когда, наконец, появился дворник, а за ним незнакомый Ане господин, тревожно посматривающий по сторонам.

— Граф нездоров и не может вас принять, — сказал он.

— Будьте любезны передать мне, что вам угодно.

— Скажите графу, что я непременно хочу его видеть, — ответила Аня. — Он знает, что мои родные уехали за границу. Я пришла... — она запнулась, — искать у него помощи...

— Право, я не знаю... Откровенно говоря, граф никак не

ожидал вашего визита.

— Я вас очень прошу передать ему мою просьбу!

Аня уже не могла сдерживать рвавшегося наружу волнения, и ее расстроенный вид смягчил секретаря.

— Хорошо, я доложу графу, — сказал он. — Прошу вас еще подождать несколько минут.

Он скрылся в блиндаж, оставив Аню под наблюдением дворника.

Впрочем, ждать теперь пришлось недолго: секретарь снова вышел к Ане и на этот раз подошел к ней более решительно.

— У вас нет оружия? — спросил он.

— Нет, — твердо ответила Аня и побледнела: секретарь вынул из кармана предохранитель от бомб.

Он открыл его и пытливо уставился на стрелку. Но стрелка не пришла в движение.

— Пожалуйте, — сказал он. — Дворник, открой калитку!

Железные петли заскрипели, открыв перед Аней свободный проход.

XXI

Жертва

Блиндаж представлял из себя небольшую, но удобно устроенную квартиру. Стены, потолок и пол были обшиты деревом, везде были ковры. Граф, устраивая свое подземное обиталище, позаботился о комфорте.

Аня, чуть не задыхаясь от мучительного сердцебиения, спустилась по лестнице вслед за секретарем и вошла в небольшую переднюю, в которой были две двери, закрытые драпировками. За одной из этих драпировок раздался глухой кашель, и Аня поняла, что там граф.

Она чувствовала себя, как может себя чувствовать человек, вошедший на эшафот и готовящийся к казни. Спазма сжимала ее горло. Но странно, она совершенно утратила

теперь чувство страха; она не боялась, что ее могут заподозрить даже и теперь, не боялась за собственную судьбу. Ее жизнь, ее мечты — все осталось позади, далеко и здесь, в земле, Аня чувствовала себя уже наполовину мертвой.

— Подождите здесь, пока я доложу о вас графу, — сказал ей секретарь и скрылся за драпировкой.

Аня села на стул.

За драпировкой раздались два голоса, говорившие шепотом, и Ане удалось разобрать только недовольное и нервное замечание графа:

— Я не понимаю, чего ей от меня нужно?

«Ты узнаешь это скоро», — мелькнула у нее мысль, тотчас же пропавшая в охватившем ее нервном оцепенении.

— Пожалуйте, вас просят, — доложил секретарь, полуоткрыв драпировку.

Аня порывисто поднялась со стула.

Таким движением бросаются в пропасть люди.

«Конец!» — ударила ей в голову мысль.

Ей сразу стало холодно. Бледная, как полотно, она шагнула за драпировку, откинув ее рукой, и эта драпировка упала за нею, отделив ее от жизни и всего мира.

В кабинете, где царил полусумрак, на темном фоне ковров, которыми были окутаны стены, Ане прежде всего бросилось в глаза лицо графа, полное и обрюзгшее старческое лицо, похожее здесь на гипсовую маску.

Граф сидел за письменным столом, одетый в домашнюю тужурку и, слегка приподнявшись, любезным движением протянул к Ане обе руки.

— Добро пожаловать, добро пожаловать, — проговорил он. — Лучше поздно, чем никогда. Душевно рад и за вас, и за вашего батюшку.

Он протянул ей руку, и Аня подала ему свою, холодную, как лед.

— Садитесь! — указал ей граф на свободный стул.

Аня села. Их разделял стол, массивное сооружение, заселенное различными безделушками и огромной бронзовой чернильницей, на крышке которой стоял серебряный Минин.

Из-за стола виднелось только тулово граfa, который сидел, откинувшись на спинку кресла, и внимательно смотрел на Аню.

Аня чувствовала, что, если она сделает резкое движение, граf немедленно поднимется и закричит или схватит револьвер, дуло которого блестело на столе.

Аня машинально измерила взглядом расстояние, отделявшее ее от граfa. У нее созрел план: она быстро встанет со стула, заставив подняться и граfa, и бросит бомбу, чтобы та ударила о мраморную подставку чернильницы.

Погибнут тогда и она и граf.

Несколько секунд длилось неловкое молчание. Его прервал граf:

— Я очень рад, что вы бросили ваши заблуждения, — повторил он. — Впрочем, этого и нужно было ожидать. Синицына не может быть анархисткой. Помните, что свободы не существует: у человека есть только обязанности. Даже там, — он указал пальцем на потолок, — нет свободы, ибо даже «царствие Божие нудится!» — закончил он торжественно.

Аня молчала.

— Вы, конечно, поедете за границу? — спросил граf. — Я помогу вам добраться до Петербурга или до Риги.

— Я... не поеду за границу, — ответила Аня.

Граf посмотрел на нее с удивлением.

— Я вас не понимаю, — проговорил он. — Самое лучшее для вас было бы уехать. Мы здесь — борцы. В скором времени начнется настоящая война против анархистов. В Петербурге готовится уже аэроплан, который вступит в сражение с «Анархией» и, конечно, взорвет ее. Мы все ждем этого, как избавления. И вы вернетесь тогда, когда внутренний враг будет уничтожен и правительство возьмет власть крепко в руки. Тогда мы все позаботимся о вашей реабилитации.

— Я не прошу вас о реабилитации, — ответила Аня. — Граf, я пришла к вам по другому делу!

— Виноват, но я понял вас так, что вы отказались от ваших прежних... взглядов, — сказал граf.

В его голосе сквозило уже некоторое беспокойство. Эта

бледная девушка казалась ему странной и подозрительной.

В нем копошилось предчувствие чего-то недоброго и зловещего, поднимался животный страх за себя.

Он поднялся с кресла и проговорил решительно:

— Если вы остались при прежних ваших убеждениях, тогда нам не о чем говорить.

Аня тоже поднялась. Бледная, решившаяся на все. У нее в ушах стоял звон, а фигура графа, стоявшего, облокотясь на стол, качалась в ее глазах.

«Теперь или никогда!» — блеснула мысль.

— Я пришла вам сказать, что исполнительный комитет партии анархистов приговорил вас к смерти!

Эти слова прозвучали для самой Ани звуками чужого голоса. Она видела, как побледнело лицо графа, а его глаза, ставшие круглыми от испуга, установились на Аню.

Аня шагнула вплотную к столу, не отводя от лица графа, от его глаз, своего упорного взгляда, в котором была упорная решимость человека, доведенного до отчаяния, утратившего свою волю.

Граф машинально, точно защищаясь, поднял руку. Его рот то открывался, то закрывался. Он говорил, но его слова не были слышны: у него пропал голос.

Аня подняла уже руку, чтобы схватить брошь-бомбу, но в это время распахнулась портьера, закрывавшая дверь в другую комнату, и в нее выбежала девушка, дочь графа, о которой Аня знала только понаслышке.

Она бросилась к отцу и, закрыв его собой от Ани, вскрикнула:

— Я не дам вам убить его! Убивайте лучше меня.

Рука Ани бессильно упала, и она сама, как подкошенная, упала на пол.

— Я не могу... Арестуйте меня, — вырвалось у нее. — Вот бомбы, возьмите их!

Но ее дрожащие руки тщетно искали адских снарядов. Их не было. Аню обожгла мысль, что она забыла их дома.

Оправившийся граф нажал в это время кнопку электрического звонка и приказал вбежавшему секретарю:

— Позовите людей и отправьте в полицию эту женщи-

ну... Она пришла меня убить!

А сам быстро выбежал из комнаты и крикнул в дверях:

— Обыщите ее и связывите! Это анархистка!

Но Аня и не думала сопротивляться. И когда вбежавшие дворник и сторожа грубо связывали ей руки и с ругательствами толкали ее, в том состоянии бессилия и апатии, в котором она находилась, ее радовало то, что она не пролила крови.

«Теперь немного страданий — и конец!» — подумала она.

Вызванная по телефону тюремная карета через полчаса привезла Аню в новую подземную тюрьму.

• • • • • • • • •

Александр Васильевич вернулся домой часа через три после ухода Ани.

Отсутствие жены удивило его, но он не придал этому серьезного значения, пока не увидел на столе, очевидно, нарочно оставленный лоскуток бумаги, на котором рукой Ани были набросаны слова.

Он взял этот лоскуток, прочел его и с тяжелым стоном схватился за голову:

— Аня!

Он опять схватил эту роковую записку, все, что осталось у него от Ани, ее последнее «прости», и пробежал ее несколько раз. Каждое слово этой коротенькой записи, в которой Аня прощалась с ним, жгло его, как огнем. Она приносила себя в жертву идее и правде, умоляла простить и забыть ее, постараться найти успокоение и счастье, а он в порыве тяжелой скорби хватался за голову и обвинил себя, что он не оберег и не сохранял ее, что она явилась послушным оружием в руках посторонних людей и теперь погибнет.

— Я должен спасти ее! — вырвалось у него. — Спасти, хотя бы ценой собственной жизни!

И он зарыдал, как мог рыдать только мужчина.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В тюрьме

Аню втолкнули в широкий подземный коридор, освещенный керосиновыми лампами, которые казались светлыми, туманными шарами от окружавшего их пара в холодной и сырой атмосфере. Этот коридор был похож на могилу, и Аня вошла в него с тем же чувством, с каким живой человек вошел бы в могилу.

Страшная новая подземная тюрьма была тем Дантовским адом, на воротах которого стояла надпись: «Оставь надежду навсегда!»

Из тюрьмы не выходили. Люди, попавшие сюда, только один раз проходили длинным подземным коридором, дрожа от промозглого и сырого холода, и за ними глухо захлопывалась тяжелая дверь, звеня железной обшивкой.

Отсюда выносили только трупы с лицами, искаженными от страшного электрического удара, каким убивались осужденные тайным судом на смерть.

В этой тюрьме даже сторожа менялись каждый месяц, так тяжела была здесь служба и условия жизни.

Жандармы и тюремная стража тесным кольцом окружили Анию, точно она могла бежать отсюда, из этой могилы, от десятков глаз, которые наблюдали за ней, сторожили ее, смотрели на нее, как на опаснейшую преступницу и злодейку.

Анию подвели к камере, на двери которой стояла цифра № 17, надзиратель отпер ее ржавым ключом, и на новую узницу взглянул настоящий могильный мрак.

— Сейчас зажжем лампу, — сказал, словно извиняясь перед нею, надзиратель. — Будет светло.

Он чиркнул спичкой и отпер ключом замок на решетке фонаря, в котором помещалась небольшая керосиновая лампа. Тусклый полусвет наполнил камеру.

Эта была крошечная комната без окон, с вентилятором наверху, но без единого окна. К стене была привинчена

подъемная железная кровать с соломенными тюфяком и подушкой и грубым байковым одеялом. Рядом с ней стояли небольшой деревянный стол и табуретка.

Аня была уже обыскана в конторе тюрьмы, где ее заставили переодеться в грубое арестантское платье и коты, то платье, которое, может быть, носили до нее десятки других женщин, для которых теперь не существовало уже ни борьбы, ни свободы, ни надежд. Эти предшественницы ее были мертвы, и Аня, как саван, надела их платье. Ее не допрашивали, так как практика убедила и полицию и следователей в полной безуспешности всякого допроса. Но имя свое она назвала, так как скрывать это было все равно бесполезно.

Надзиратель снова запер фонарь железной решеткой и вышел из камеры.

— Вот звонок, если что будет нужно, — указал он, выходя, на прибитую к стене кнопку. — Если что будет нужно, позвоните. Только без толку звонить нельзя, за это наказывают, — добавил он внушительно.

Дверь захлопнулась. Аня осталась одна.

Она еще раз обвела взглядом свою келью и беспомощно опустилась на табуретку.

Настоящая могила. Ни звука, ни жизни. Тихо до того, что слышно, как лопочет пламя на фитиле лампы. Точно пытается заговорить с Аней на непонятном языке, на языке безмолвия и печали. А вот кто-то стучит так близко, рядом с ней в углу.

Аня даже обернулась, так поразил ее этот стук, но сейчас же убедилась, что это стучит ее собственное сердце.

Сколько дней оно еще будет стучать?

Аня задумалась. Вот она принесла себя в жертву тому делу, в которое верила, но не исполнила того, что от нее требовали. Об ее жизни уже нечего думать, она кончена, но ведь она принесла в жертву не одну свою жизнь, но и жизнь любимого и любящего ее человека. Имела ли она право сделать это? Она свободна, но оказывается, что свобода ее ограничивается даже по отношению к ней самой, и не путами и законом, а чувством любви, самым нежным

чувством, к какому только способны люди!

С мельчайшими подробностями вспоминалось ей утро сегодняшнего дня, прощание с мужем, блеск солнца в окне, возле которого она писала свой страшную для него записку, потом ворота в доме, где живет граф Дюлер, вход в блиндаж, кабинет, увешанный коврами, бледное лицо графа, его испуг, потом его крик: «Это — анархистка», который до сих пор звучит в ее ушах.

Как она могла забыть бомбы? Несмотря на то, что она рада была тому, что не бросила их в кабинете графа, она считала это непростительным. Ее «покушение» могло показаться смешным. Покушение без средств произвести его. Аня объясняла эту забывчивость тем волнением, которое она переживала, но ведь бомбы должны были остаться на кофточке. Она не снимала их. Это она помнила отлично. И вдруг она догадалась, ей сразу все ясно: она поняла, что это он спрятал бомбы, потихоньку от нее.

Предчувствие его не обмануло. Он спас ее от пролития крови, но не мог спасти от тюрьмы и, может быть, казни.

И она была теперь благодарна ему.

«Нужно взять себя в руки, — думала Аня, — твердо пройти последний жизненный путь. Не дать торжествовать плачам хотя бы малейшими следами моего волнения. Перенесет и он. Как мужчина, он должен выйти победителем из своего страдания. Гибнут только дряблые духом, а он не таков».

Но как тяжелы будут эти последние дни! Замуравленная, как в могиле, утратив представление о дне и ночи, забыв время, — пока в этой же келье не появится голубоватый шар электрической искры, несущий с собой смерть.

Аня только теперь обратила внимание, что весь пол, стены и потолок были усеяны небольшими медными бляхами, похожими на шляпки от гвоздей. Она поняла, что это было не что иное, как аноды и катоды, в которые пускался сильный электрический ток. От него невозможно было спастись, так как вся камера по всем направлениям пронизывалась электрическими лучами.

Эта комната смерти была последним словом науки, направленной к самоистреблению людей, так как казнь, по существу, была тем же самоистреблением. Новую казнь прикрывали прозрачным флером гуманности, так как считали уже позорным вздергивать человека на веревке к перекладине виселицы на глазах у живых и здоровых людей, но заставлять человека жить в комнате, приспособленной для казни электричеством, было равносильно жизни на эшафоте в виду веревки и палача.

Люди хотели обмануть вечную правду, заповедавшую «не убий», и прикрывались ложным человеколюбием, но от этого выдумка их становилась еще противнее и ужаснее.

Аня с любопытством осмотрела эти медные бляхи, даже потрогала их на стене рукой. Они имели слегка коническую форму и были холодны, как лед.

И вдруг она заметила, что бляхи на полу начинают светиться и мигать слабым голубоватым светом.

«Пустили ток! Это смерть», — подумала Аня.

Она была спокойна. Смерть не пугала ее. Аня приготовилась встретить ее. Она нарочно прислонилась к стене, к холодным бляхам и смотрела на мигание голубоватых огоньков, ожидая роковой минуты.

«Это будет только миг, один миг!» — ободряла она сама себя.

Но правильность мигания этих огоньков поразила ее. Они то мигали быстро и часто, то светились сравнительно подолгу, то исчезали на определенное время. Это мигание напоминало отчасти работу телеграфного аппарата.

«Ведь это сигнализация! — догадалась, наконец, Аня. — Это “наши” воспользовались даровыми проводами и сигнализируют нам в тюрьму! Но как понять эту сложную азбуку? Впрочем, я ее пойму, непременно пойму!»

Наблюдения Ани подтвердились: в коридоре за дверью раздался шум, и чей-то глухой голос прокричал:

— Опять эти анархисты телеграфируют!

— Беда с проклятыми! — ответил другой голос.

И все опять стихло, только огоньки продолжали мигать; этот молчаливый разговор был дорог Ане, он один связывал ее теперь с далекой от нее жизнью.

«Не одна!» — подумала она.

• • • • • • • •

Александр Васильевич в безумном отчаянии обегал половину Москвы и нигде не мог напасть на след жены. Был он и в магазине Светочева, но там были уже какие-то новые, незнакомые ему люди, которые смотрели на него, как на сумасшедшего, и на все его вопросы отвечали полным незнанием.

Тогда он побежал на Арбат к Пронскому, которого не видел уже давно. К счастью, Пронский был дома, но встретил приятеля смущенно.

— Знаю уже о вашем горе, — сказал он, крепко пожимая руку Александра Васильевича. — Мужайтесь, дорогой друг!

— Вы знаете, что жена...

— Да, в редакции уже получены сведения... Она, по приговору партии, совершила покушение на графа Дюлера, но неудачно, и теперь в новой тюрьме...

— Но ведь я своими руками спрятал от нее бомбы! — вскричал Александр Васильевич. — Значит, у нее были еще... Значит, ее осудят, казнят!

Он с ужасом смотрел на Пронского.

— Еще ничего не значит, — ответил тот. — Бомбы не нашли ни в квартире графа, ни у арестованной. Следовательно, отпадает сам факт покушения на убийство. На ее арест нужно смотреть, как на арест за принадлежность к нелегальной партии. Хотя и это небезопасно, но в наших руках есть громадный шанс, что арестованная останется жива.

И продолжал в ответ на немой вопрос Александра Васильевича:

— Граф Дюлер постарается не выпустить из рук такого козыря и, вероятно, будет хлопотать об отсрочке казни, чтобы вытащить с папаши Синицына изрядный куш. Кроме того,

в Петербурге образовалась целая тайная коллегия из лиц, занимающихся за деньги освобождением политических заключенных. На законном основании, конечно. Суд не находит состава преступления, и обвиняемый preлагополучно уезжает за границу. От этой коллегии, в которую замешаны крупные тузы, повсюду шныряют агенты. Поверьте, что уже теперь все пружины пущены в ход...

— А если мы ошибаемся? — спросил Александр Васильевич.

— Я не ошибусь, если скажу, что казни вашей жены нельзя ожидать скоро. Если же я ошибаюсь, вообще, тогда все-таки останется одно средство...

— Какое же? — с волнением спросил Александр Васильевич.

— Требовать у коммуны анархистов, чтобы они ее освободили. Они должны это сделать и могут, потому что в их руках масса средств. Что же касается вас, то вам лучше всего переменить имя и поселиться где-нибудь в другом месте. На вашей квартире вас могут арестовать; там, наверное, уже был обыск и найдены спрятанные вами бомбы.

II

Воздушный бой

Прошло несколько дней. Послушавшись Пронского, Александр Васильевич перебрался в другую часть Москвы, недалеко от Новой тюрьмы, в которой была Аня.

Ему хотелось быть ближе к ней. Его энергия то поднималась, то вновь падала. Это была борьба отчаяния с надеждой спасти жену и, если бы его не поддерживал Пронский, уверявший, что Аня жива, он покончил бы с собой.

Но пока ничего нельзя было предпринять — «Анархия» свирепствовала. И днем, и ночью висела она над Москвой, бросая торпеды, превратившие в развалины более десятка казенных и зданий.

В Кремле пылало здание окружного суда, и его некому было тушить, так как нельзя было выходить на улицу. Артиллерия стреляла беспрерывно, и над городом, опустевшим и вымершим, стоял гул стрельбы и взрывов и висел серой пеленой дым.

Жители попрятались в блиндажи, и на улицах попадались только шайки грабителей, похищавших имущество и отвечавших выстрелами на выстрелы по ним из полицейских блиндажей.

Жизнь замерла, но вести распространялись с непонятной быстротой. Стало известно о назначении премьера диктатором, ждали указа о мобилизации армии, объявления анархистов «вне закона», о бегстве из Москвы и Петербурга высших административных лиц.

Почти все государственные учреждения были переведены в Финляндию, а государственное казначейство перебралось еще дальше — в Англию, и русские кредитные билеты печатались на английских станках.

Сибирь, Кавказ, Крым и Польша отделились и образовали отдельные республики; Новгород и Псков вспомнили про древнее вечевое устройство, образовав вольные города, а Царевококшайск, в котором властью завладел исправник, объявил себя великим княжеством.

Великий князь царевококшайский потребовал себе присяги, но на другой день был убит своим письмоводителем, и Царевококшайск присоединился к России.

Диктатору было много забот; он с трудом мог бороться против надвигавшейся анархии, так как ему самому пришлось уехать в Финляндию.

Все заботы правительства были направлены к уничтожению «Анархии», этого страшного врага, в гибели которого видели спасение.

В Петербурге с величайшим трудом построили управляемый аэроплан; на этот аэроплан возлагались все надежды. Он носил название «Генерал-адъютант Куропаткин».

Снабженный электрическими орудиями, торпедами, сильным двигателем и поднимавший пятьдесят человек команды, новый аэроплан представлял из себя грозное сооруже-

ние, но он проигрывал перед «Анархией» в быстроте передвижения по воздуху.

Газеты были полны предположениями и выводами о грядущем бое, но рекорд в этом отношении побили «Русские ведомости», которые с точностью высчитывали все винтики у «Анархии» и все кнопки у «Генерала Куропаткина».

Можно было подумать, что газета специализировалась на вопросах воздухоплавания и с благородной грустью указывала на невозможность победы для правительственного аэроплана.

В церквях служили молебны о ниспослании победы, но настроение у всех было тревожное.

В победу не верилось.

«Анархия», между тем, продолжала громить Москву.

Экипаж ее, по-видимому, мало беспокоился приближением первого серьезного противника и не спешил к нему на встречу.

И вот, ранним утром, на тринадцатый день осады Москвы «Анархией», неожиданный колокольный звон возвестил, что в воздухе показался «Генерал Куропаткин».

Давно уже над Москвой не раздавалось колокольного звона; измученные жители высыпали на улицы, появились войска из блиндажей и стали на площадях и улицах в боевом порядке.

Никто не думал об опасности для себя; всех захватали серьезность и важность момента.

Сверкая на солнце металлическими частями, горделиво плыл над Москвой на высоте 400 сажен громадный аэроплан с развевающимся на нем Андреевским флагом.

Он был похож на сказочное чудовище и в несколько раз превосходил размерами «Анархию». Плавно пронесся он над Москвой, сделал полукруг над Кремлем и остановился.

Громыхнул выстрел. Это был салют Москве, поклон ей от отважных воздушных бойцов, для которых не было другого исхода, кроме смерти или победы.

И толпа внизу, во всей Москве, ответила дружным приветственным криком.

Кричали все, кто к какой партии ни принадлежал. Анар-

хисты были общими врагами. Они тоже были на улицах, смешавшись с толпой, но они ждали конца боя. Их было меньшинство, и они еще не решались выступить против всего народа.

«Анархии» не было видно. В воздушном просторе царил один аэроплан, и это уже было похоже на победу.

Вот он опять тронулся, медленно описывая новый круг, огромный и сверкающий, царя над древним городом, над которым еще поднимался дым от недавних пожарищ.

В этот момент на востоке появилась черная точка, которая быстро приближалась, точно падала из бездонной си-невы.

Это была «Анархия».

На военном аэроплане заметили врага и подняли боевой сигнал. Аэроплан опять остановился и повернулся к приближающемуся врагу правым боком, готовясь встретить его залпом из всех орудий.

И толпа внизу заметила врага. Приветственные крики умолкли, и только звон колоколов всех церквей могучей волной поднимался в воздух, неся с собой привет и ободрение. Этот звон заглушал гудение крыльев страшного корабля, который приближался, как пущенная из лука стрела.

Черное знамя анархистов реяло на нем траурной черточкой.

По сравнению с аэропланом «Анархия» казалась пигмеем, но этот пигмей так же уверенно приближался к противнику, как молодой сокол нападает на неуклюжую цаплю.

Грянул залп, от которого вздрогнула земля. Из окон посыпались стекла. Целая сеть голубоватых молний блеснула по направлению к черному пятну «Анархии», но та почти перпендикулярно взмыла кверху и стала подниматься все выше и выше, стремясь повиснуть над противником и бросить в него свою страшную торпеду.

На «Генерале Куропаткине», очевидно, поняли этот маневр, и он стал подниматься вверх, время от времени бросая в воздух снопы молний и гремя залпами.

Сначала из глаз пропала «Анархия», потом исчез и аэроплан. Оба они скрылись за облаками, и только отдаленный рокот, похожий на гром надвигающейся грозы, доносился оттуда, говоря о заоблачном бое.

Александр Васильевич тоже был на улице вместе с толпой. Общее волнение захватило и его. Он с замиранием сердца наблюдал это невиданное зрелище — борьбу людей в воздухе, но он боялся сказать себе самому, кому он желает победы.

Победа «Анархии» могла повлечь за собой господство анархистов, а это господство не соответствовало его убеждениям, победа военного аэроплана влекла за собой еще более суровое преследование анархистов и гибель Ани.

Он стоял, прислушиваясь к отдаленному заоблачному гому, который становился все тише и тише.

Легкие перистые облака ревниво закрывали от глаз людей совершающуюся кровавую драму в сияющем и спокойном воздухе, где, казалось, должен был царить вечный покой.

Этот покой нарушили люди, всюду, куда ни удавалось им проникнуть, приносящие вражду и пролитие крови.

Кругом громко говорили и спорили, кому достанется победа.

— «Анархия» выигрывает быстротой, — сказал стоявший рядом с Александром Васильевичем незнакомый человек, — но у аэроплана есть свои преимущества: он может подняться выше «Анархии», в ту сферу, где кораблю с крыльями уже нельзя будет держаться вследствие разреженности воздуха.

— Ну, значит, бой затягивается, — заметил другой.

— Вернее всего.

Действительно, скоро стих и гром. Над головами продолжавшей стоять толпы неслись только облака. Ничего не было видно и слышно,

Многие стали расходиться разочарованные, простояв несколько часов на одном месте, и вскоре на улицах остались одни войска да небольшие кучки зевак, которым некуда было деваться.

Стих колокольный звон, но Москва продолжала сохранять необычный встревоженный вид.

III

Агент по освобождению

— Виноват, вы не Александр Васильевич?

Александр Васильевич медленно шел к себе, когда за ним раздался незнакомый голос, назвавший его по имени. Он вздрогнул и обернулся.

Небольшая фигурка в сером меховом пальто пытливо и любезно заглядывала ему в лицо.

«Сыщик», — подумал Александр Васильевич, подозрительно оглядывая эту фигурку. Он хотел было уже продолжать свой путь, не ответив на вопрос назойливого незнакомца, но тот заметил произведенное им неблагоприятное впечатление и заговорил:

— Простите, теперь, конечно, такие времена, что незнакомцу опасно открывать свое имя, и вы, наверное, принимаете меня за шпиона, но смею вас уверить, что я не сыщик... Я встречал вас в суде и помню ваше лицо.

— Что же вам угодно? — спросил Александр Васильевич, хмуря брови.

Назойливость незнакомца начинала его сердить, но этой фразой он открывал свое имя.

Незнакомец, приняв таинственный вид, подошел к Александрю Васильевичу почти вплотную и зашептал ему на ухо:

— Мне известно, что на днях арестована ваша супруга... Можно устроить ее освобождение...

— Но кто же вы такой? — с волнением спросил Александр Васильевич.

Он сразу потерял свое недоверие к этому странному господину, почувствовал, что тот говорит неспроста, что у него в руках есть какая-то тайная магическая сила.

— Вы... можете... — проговорил он.

— Не я-с... Другие... Я только передаточная инстанция.

Вот моя карточка.

Он подал карточку, на которой значилось:
«Сидор Семенович Курышкин. Комиссионер».

— Как бы там не кончилось, — указал он на небо, где за облаками происходил бой, — сила еще долго будет в руках правительства!

Что-то хищническое, наглое и циничное проскользнуло в этот момент в его лице, и Александр Васильевич почувствовал, как в нем зашевелилось отвращение.

Но он взял карточку. Этот человек говорил об освобождении Ани, и Александр Васильевич чувствовал, что он не стал бы даром терять времени.

— Что же... вы хотели бы поговорить? — спросил он отрывисто.

Курышкин пожал плечами.

— Это зависит от вас. Могу только сказать, что «мы» оказались дальновидными; обыкновенно в двадцать четыре часа происходит и суд и казнь, но, благодаря нашему влиянию, суд над вашей супругой еще не состоялся.

Он посмотрел на Александра Васильевича с видом скромного достоинства.

— Когда же мы увидимся с вами? — спросил Александр Васильевич.

— Когда хотите. Завтра я мог бы принять вас у себя, если не будет восстания. Наш квартал безопасен, «Анархия» не бросила к нам до сих пор ни одного снаряда.

На карточке был напечатан и адрес.

Александр Васильевич обещал приехать завтра, в два часа дня, и не без внутреннего колебания подал руку господину Курышкину.

— Так я вас жду! — сказал тот.

Он перебежал улицу и скрылся в толпе, оставив Александра Васильевича в состоянии раздумья и брезгливости.

— Торговцы правосудием, — подумал он, подвигаясь по тротуару вместе с кучками разбредавшейся толпы. Он вспомнил, что Пронский рассказывал ему о целом обществе в Пе-

тербурге, занимавшемся за деньги освобождением арестованных. Это общество занималось и шантажом, и дела его шли блестяще благодаря массе арестов.

Очевидно, Курышкин был одним из агентов этого общества.

Чтобы освободить Аню, Александру Васильевичу приходилось обращаться к услугам этих сомнительных людей, входить с ними в сделку, и он готов был сделать это ради нее. Но он знал, что Анна брезгливо отодвинулась бы от этих людей и предпочла бы смерть такому освобождению. Может быть, и он поступил бы так по отношению к самому себе, хотя очень любил жизнь, но по отношению к Ане он готов был пойти на все.

Он мечтал даже о том, что войдет в партию революционеров и вместе с ними пойдет брать приступом Новую тюрьму, но Пронский только посмеялся над ним, сказав, что это невозможно.

— Вступайте лучше в коммуну, — посоветовал он ему. — Там вы скорее составите себе отряд для нападения на тюрьму, на которую анархисты давно точат зубы.

Но коммуна точно провалилась сквозь землю, и Александр Васильевич никак не мог туда проникнуть, хотя несколько раз пытался произвести этот маневр. Иногда на него находило такое отчаяние, что он готов был один, без оружия, броситься к земляному брустверу, за которым была подземная тюрьма, разметать его своими руками, задушить теми же руками стражу и вывести Аню на свободу, в царство любви и жизни.

По ночам его мучила жестокая бессонница, а в те редкие часы, когда сон сковывал его усталое тело, ему снилась Анна, на полу, в мрачной подземной келье, может быть, поруганная, измученная пытками, и он вскакивал в холодном поту.

Да, ему не было выбора.

Он отдавал себя, готов был продаться этим темным, неизвестным людям, которые бросили ему надежду вновь увидеть на свободе дорогого человека, ту надежду, которую они уже расценили на деньги и продавали, смеясь нагло и над

убеждениями и над властью, которая заменила правосудие слепой и беспощадной карой.

Они продавали все, что можно было продать.

В этот день Александр Васильевич был у Пронского, которому рассказал про свою встречу. Оказалось, что Курышкин успел побывать уже и у Пронского, разыскивая его.

— Я хотел уже идти сообщить вам об этом, — сказал ему Пронский, — но помешал этот воздушный бой. Неприятно, если на голову упадет торпеда.

— Вы думаете, что этот человек не обманет меня? — спросил Александр Васильевич.

— Как вам сказать! У подлецов есть своя специфическая честность. Он предлагает вам грязненькое дело, облупит вас, как Сидорову козу, но доведет дело до конца. Иначе им и нельзя: «фирма» может пострадать.

— Я отдам им все, что у меня есть. Отдам имение!..

— Видите ли, — заметил ему Пронский, — скверно, если они больше рассчитывают на папашу Синицына, чем на вас. Тогда дело пахнет миллионом, которого у вас нет. А еще неизвестно, даст ли миллион папа Синицын, и потом, где его найти.

— Он уехал в Америку, — ответил Александр Васильевич. — Да, миллиона у меня нет.

— Но вы не отчайвайтесь, — продолжал Пронский. — Мне удалось узнать, что в этой компании, занимающейся освобождением за деньги, находится и его сиятельство граф Дюлер. Конечно, под величайшей тайной. Он — глава московского отдела.

Александр Васильевич не мог удержаться от изумленного восклицания.

— Да, да! Сам граф Дюлер! Охранитель старых основ и спасатель родины. Деньги не пахнут, а их цель — только деньги. Они-то и продают Россию!

— Но ведь у него дела с Синицыным! — продолжал Александр Васильевич.

— Ничего не значит... Когда пахнет миллионом, не смотрят ни на родство, ни на связи. Граф прекрасно понимает, что миллиона с Синицына он иначе никогда не получит.

Оттого он и велел арестовать вашу жену. Это такие мошенники, такие мошенники...

И Пронский махнул рукой, не находя слов.

— Они оберут вас, но будут искать Синицына, — добавил он. — Мы, поэтому, располагаем большим временем, чтобы готовиться и со своей стороны. Поэтому вы ведите дело с Курышкиным, а я буду вести дело с анархистами. Они, может быть, думают, что ваша супруга уже казнена, надо заставить их пошевелиться.

Они еще разговаривали, как вдруг окна вздрогнули и в них зазвенели стекла. Раздался звук далекого взрыва, который шел откуда-то сверху. Александру Васильевичу показалось даже, что в окне блеснул огонь, как свет от падающей звезды.

— Это конец боя! — воскликнул Пронский. — Кто победил — аэроплан или «Анархия»?

— Конечно, «Анархия», — ответил, подумав, Александр Васильевич.

IV

Самосожжение

На другой день уже не было никакого сомнения в результате боя. «Генерал Куропаткин» был взорван брошенной с «Анархии» летающей торпедой. Часть команды погибла, часть спаслась на парашютах, но это были полубезумные от пережитых потрясений, обмороженные и обожженные люди. Обломки аэроплана упали за Воробьевыми горами. Пострадала и «Анархия»: ее видели после боя, тяжелым полетом направлявшуюся на запад. Крылья ее гудели сильнее обычного.

Она скрылась, но все были уверены, что она скоро явится. Москва точно вымерла: не было и следа вчерашнего воодушевления, рожденного ожиданием победы. Колокола мол-

чили. Москва переживала поражение аэроплана, как свое собственное, но она еще не сдавалась.

По улицам ходили мрачные патрули. Довольно было простого подозрения, внушенного солдату или полицейскому, и человека хватали, и он исчезал в подземных участках. Железные ворота Новой тюрьмы растворялись почти каждый час, впуская все новые и новые жертвы.

Шла настоящая война, при которой не считаются с человеческими жизнями. Правительство поставило ва-банк.

В этот день Александр Васильевич был у Курышкина, но тот встретил его печально.

— Все лопнуло, — сказал он ему. — Сегодня ночью убит граф Дюлер. К нему явился целый отряд анархистов, и графа расстреляли на собственном дворе. Вместе с ним погибли его дочь и секретарь. Я не могу теперь ничего сделать: правительство решило действовать беспощадно. Наша компания не решится теперь продолжать свою деятельность.

— Но вы же сами говорили вчера, что все останется по-старому, как бы ни кончилось сражение! — вскричал Александр Васильевич.

Маленькая надежда, оживившая его вчера, разом пропала. Он точно провалился в пропасть, откуда не было выхода.

— То было вчера, а то сегодня, — покачал головой Курышкин. — Теперь жизнь измеряется часами и даже минутами. Что было возможно час назад, невозможно теперь. Я знаю из верных источников, что сегодня анархисты будут объявлены вне закона. Мой совет — примириться с вашим несчастьем и думать о себе. Знаете, как сказал поэт: «Спящий в гробе, мирно спи, жизнью пользуйся, живущий!»

Эта сентенция возмутила Александра Васильевича. Она поразила и оскорбила его, как богохульство может оскорбить верующего человека. Кровь бросилась ему в лицо, и он едва не ударил этого человека, еще вчера предлагавшего ему «купить» Аню.

— Мерзавец! — бросил ему он.

Он встал и направился к двери, не взглянув даже на оторопевшего Курышкина, не ожидавшего такой развязки.

— Молите Бога, что я и вас не арестовал, — крикнул он ему вдогонку.

Александр Васильевич вышел на улицу, шатаясь, как пьяный. Его наполняло отчаяние. «Все кончено, — думал он. — И если мне что осталось, так это — месть. Но кому же мстить? Всем! Всем людям, надругавшимся над человеческими чувствами, втоптавшим в грязь идеалы, залившим мир кровью... Всему безумевшему человечеству!»

И он захохотал, как смеются безумные.

Он чувствовал, как разгоралась в нем эта слепая ярость, родившаяся от отчаяния, злоба сатаны, черная тень которого окутала весь мир.

Сам не зная, куда он идет, бежал Александр Васильевич по улицам и переулкам, и случайные встречные бросались от него в сторону, испуганные выражением его лица.

На одной из улиц он наткнулся на толпу, которая медленно двигалась с заунывным похоронным пением. Александр Васильевич принял ее сначала за похоронную процессию, но среди людей, идущих с непокрытыми головами, он не видел ни гроба, ни мертвеца. Над головами людей он видел только качающуюся верхушку деревянного креста, который несли, как знамя.

Александр Васильевич смешался с этой толпой, и чья-то рука сдернула у него с головы шапку.

— Иди с нами, нечестивец, — крикнул ему чей-то голос.
— Иди и очистись огнем!

Безумные глаза впились в него; Александр Васильевич увидел сумасшедшее лицо, растрепанные волосы и открытую грудь с разорванным воротником рубашки.

— Куда? — ответил он машинально.

— В монастырь! К блаженному Максиму! Иди и покайся!

И Александр Васильевич пошел с этой толпой, поддаваясь охватывающему ее настроению, в котором доминировало безумие и страх, сам почти безумный среди безумных людей.

И похоронное пение, нескладное, прерываемое рыданиями, рвало на части его душу.

«Я хороню Аню, хороню себя!» — билась в нем мысль.

Слезы накипали у него на глазах, в то время как губы кривились от страшной улыбки, и безумный хохот готов был вырваться из груди.

Вот и стены монастыря. Ворота были раскрыты, и толпа медленно влилась в них.

Смолкло пение. Монастырский двор с крестами и памятниками над могилами иноков встретил, как кладбище, онемевшую толпу.

Промелькнули несколько монахов и смешались с толпой, заполнившей весь двор и тихо подвигавшейся к кельям.

Здесь толпа остановилась. Многие упали на колени.

— Отец Максим! Отец Максим! — раздались голоса, сначала робкие, но потом все более и более настойчивые. Толпа требовала своего кумира, своего проповедника, и в ее голосах звучало уже теперь властное требование.

Она гремела:

— Отец Максим!

Растворилась дверь, и на крыльце показался Максим Максимович.

Александр Васильевич не сразу узнал его, так изменился отставной штабс-капитан.

Длинные волосы почти закрывали лицо его, на котором сверкали глубоко впавшие глаза, седая борода растрепанными прядями лежала на груди. Он был в одной рубашке, похожей на саван, босой, исхудалые руки, покрытые синими жилами, были скрещены на груди.

— Издите! — загремел он толпе.

— Отец Максим! Отец Максим! — зарыдала толпа. — Спаси нас!

Несколько женщин бились в истерике и кликушествовали; общее сумасшествие, как зараза, охватило и Александра Васильевича: ему хотелось кричать и рыдать, но остаток воли еще сдерживал этот безумный порыв.

— Как я вас спасу, если вы сами не можете спастись! — снова бросил толпе Максим Максимович. — Вы не верили мне, когда я ходил к вам, а теперь хотите, чтобы я поверил вам, когда вы пришли ко мне! Подите прочь, маловерные!

Толпа ответила глухим рыданием, но потом снова, еще настойчивее раздались ее голоса, требовавшие чуда от того, кого эта толпа поставила своим кумиром, и был момент, когда жизнь этого кумира могла быть в опасности: толпа, как зверь, могла броситься на него.

Понял ли это Максим Максимович или общее безумие толкнуло на новую идею безумного человека, но Максим Максимович вдруг крикнул:

— Огонь вас очистит! Огонь вас спасет!

Больное воспоминание ударило Александра Васильевича. Этот крик он слышал давно, в бывшем храме «Чистого Разума», когда нашел чудом спасшуюся Аню. Теперь этот крик прозвенел для него, как вестник конца и смерти.

— Сложите костер! — продолжал Максим Максимович, повелительно протянув руку.

Многие из толпы бросились к стоявшим у стены невдалеке сложенным дровам. Напрасно монахи пытались остановить их, предчувствуя что-то недоброе; они были смыты и оттерты толпой, которая в один миг набросала перед кельями целую кучу дров, зловещую пирамиду, под которой скоро закурился синий дымок.

— Огня! Больше огня! — кричал сумасшедший, и толпа гудела ему в ответ, и треск разгоравшегося пламени смещивался с этим гудением.

Наступил роковой момент, кульминационный пункт общего помешательства, когда люди перестали понимать себя, чувствовать жизнь, самосохранение, когда безумие, как вихрь, закружило всем головы.

Надвигалось нечто страшное, отвратительное в своем безумии; оно должно было произойти сейчас, и Александр Васильевич, весь охваченный нервной дрожью, чувствовал это.

Он чувствовал, что толпа, если бы ей приказал этот сумасшедший, царящий над нею, бросилась бы в огонь, и он замирал перед страшной развязкой.

Пламя уже высоко взвивалось кверху, грозя строениям. Чернели и обугливались дрова, а головни внизу сверкали красными пятнами, как глаза чудовищ.

И в этот момент Максим Максимович крикнул:

— Не этого огня бойтесь! Бойтесь небесного огня! Я взойду на костер, и пламя не коснется меня!

— Максим Максимович! — крикнул вне себя Александр Васильевич; он хотел броситься, помешать этому несчастному, безумному человеку, но толпа откинула его назад, и его голос потонул в общем безумном вопле.

Он видел, как в пламени мелькнуло белое рушище Максима Максимовича, его седая, растрепанная борода, видел, как взмахнули над его головой в красноватом дыму бледные руки, и он не знал, он ли это крикнул или дикий, нечеловеческий вопль раздался из пламени.

Толпа подхватила этот крик и бросилась к костру, давя друг друга, и Александр Васильевич остался в стороне от нее, обезумевший, почти уже не сознававший окружающего.

Он не помнил, как вышел за ворота, как шел мимо людей, бежавших к монастырю с встревоженными лицами, как, наконец, очутился у Пронского.

Здесь с ним сделался нервный припадок.

V

В застенке

Аня потеряла представление о времени. День или ночь — для нее было все равно. Это было тупое безразличие к себе, которое оживляли только воспоминания. Ей казалось, что она уже давно-давно в этом ужасном каземате, что годы прошли с тех пор, как она в последний раз видела солнце. Была жива. А теперь она считала себя мертвой.

По-прежнему мигали перед нею голубоватые огоньки, но в тщетных попытках понять их немой язык она только изнемогала и не могла открыть тайный ключ их смысла. В них она видела только предвестников смерти.

И вот однажды в дверях ее каморки загремели ключи, и в отверстие просунулась голова надзирателя.

— Пожалуйте! — проговорил он.

Она не сразу поняла его.

— Куда? — вырвалось у нее изумленное восклицание.

— Известно куда, к допросу! — ухмыльнулся надзиратель, и в этой усмешке Ане почудилось что-то зловеще страшное.

«Пытка... Смерть!» — мелькнула мысль.

Она готовилась твердо встретить смерть, она приучила себя к этой мысли; голубоватые огоньки, мигавшие ей и днем и ночью, приучили ее к мысли о том, что скоро перед нею откроется загадка жизни и смерти, — тайна небытия, но теперь она почувствовала страх.

Таинственный и зловещий страх перед решительной минутой.

— Я не пойду, — проговорила она беспомощно.

Надзиратель усмехнулся.

— Этого у нас не полагается. У нас велят, так иди. А то ведь у нас и конвойные есть.

— Но куда вы меня хотите вести? — вырвалось у Ани.

— Сказано, на допрос. В контору. Мужчин, тех в камерах допрашивают, а вашу сестру всегда в конторе. В особенности, которая помоложе, — добавил он с новой усмешкой.

Аня беспомощно оглянулась, как бы ища поддержки, но вокруг нее по-прежнему мигали только огоньки.

— Иди, — как бы говорили они Ане.

И в эту минуту полнейшей беспомощности на нее вдруг напал порыв решимости. Решимость отчаяния.

— Хорошо, я иду, — сказала она надзирателю.

— Давно бы так! — наставительно ответил он. — И ротмистр, что вас будет допрашивать, тоже послушание любит, — добавил он многозначительно.

Он повел Анию тем же коридором, которым она шла сюда, повернул в боковой коридор и, открыв дверь, ввел Анию в просторное помещение, обставленное довольно комфортабельно, хотя и по-казенному.

Здесь стоял большой письменный стол, диван и нескользко стульев, обтянутых клеенкой. В глубине комнаты была

плотно прикрыта маленькая дверь.

За столом сидел человек в форме жандармского офицера, с толстой шеей, которую подпирал воротник сюртука, покрасневшей оттого, что он писал, опустив голову.

Он не поднял ее, когда они вошли, и продолжал писать, и Аня видела только его щетинистый затылок и рыжие усы, которые топырились, как у таракана.

Перо царапало по бумаге, и этот шорох наполнял комнату.

— Привел, ваше б-дие, — доложил надзиратель.

— Хорошо, ступай, — не поднимая головы, ответил офицер. — А она пусть останется, — бросил он про Аню.

Надзиратель вышел и закрыл за собой дверь. Аня осталась с этим страшным для нее человеком, в полной власти которого она теперь была. А он не поднимал головы и продолжал писать, и шорох его пера по бумаге один нарушал жуткую тишину.

Вдруг он поднял голову.

— Поди сюда! — сказал он Ане.

— Это вы мне говорите? — негодующее ответила она. В ней сказалась девушка из общества.

— Конечно, тебе, — грубо повторил офицер. — Или вы, сучарыня, желаете, чтобы я разыгрывал перед вами кавалера и предложил вам стул? — добавил он цинично.

Аня молчала. Она выдержала этот наглый взгляд, который рассматривал ее как венец, как предмет, не имевший своей воли, и в ее глазах было столько презрения, что человек из-за стола сорвался со своего места и порывистыми шагами приблизился к ней.

— А, вы нас презираете! — заговорил он, хватая Аню за руку и вертя ее до боли, но Аня терпела, закусив губы, не желая даже звуком выдать свое мучение. — Вы нас презираете! Ваши товарищи загнали нас под землю, но не могли вырвать у нас силы и власти! Здесь, под землей, царим мы, и посмотрите, сколько здесь ваших, которые в нашей власти! «Око за око»... Вы презираете нас, а мы здесь будем вас мучить. Мы отнимем здесь ваши жизни... Ваш последний вздох будет нашим торжеством!

И он так сильно тряхнул руку Ани, что она застонала от боли.

— Имейте жалость хотя к женщине! — невольно вырвалось у нее.

Но она тут же обвинила себя в слабоволии.

— А вы имеете жалость к нам? — заскрежетал он, бросив, однако, ее руку. — Вы сделали из нас отщепенцев, вы загнали нас под землю, — опять повторил он. — Нет, о жалости мы не будем говорить...

Он опять схватил ее за руки и зашипел, брызгая ей в лицо слюной:

— Я буду вас мучить, прелестная фея! Я прикажу ремнями полосовать ваше тело. Я прижгу его щипчиками... Этакими маленькими раскаленными щипчиками, и буду вас мучить, пока ваш язычок не назовет мне всех ваших товарищей, ваших любовников.

— Негодяй! — бросила ему в лицо Аня.

— Да, ты еще можешь ругаться, — продолжал он, словно любуясь ужасом и отвращением, которые отразились на лице Ани, — но ты знаешь, что ты в моей власти, и ничто, слышишь ли, ничто не спасет тебя от меня? И я первый могу взять тебя, а потом отдать солдатам, как ничтожество, как распутную...

Он не докончил: сильным движением, которого нельзя было от нее ожидать, Аня вырвалась из его рук и толкнула его в грудь так, что он зашатался и едва не упал. И тотчас бросилась к столу и стала за ним в оборонительной позе, тяжело дышащая, бледная, как полотно, и с горящими глазами.

— А, ты так! — проговорил изумленный тюремщик. — Хорошо! Но ты раскаешься в этом.

И он остановился перед столом, любуясь ею, как тигр любуется дрожащей перед ним газелью, чующей смерть...

— Я могу позвать сюда сторожей и тебя скрутят по рукам и по ногам, — продолжал он, — но я этого не хочу. Ты — моя добыча.

Неторопливым шагом он подошел к двери, выходящей в коридор, запер ее на ключ и положил его в карман.

Аня в ужасе следила за ним неподвижным взглядом. Она сознавала, что спасения нет, и решила бороться на жизнь и смерть.

На столе лежал перочинный ножик. Маленький ножик с перламутровой рукояткой. Аня схватила его, раскрыла и зажала в руке, готовясь к защите.

— Это хорошо, — похвалил ее маневр тюремщик. — Я люблю с огоньком. Мне уже надоели такие, которые валяются в ногах, просят милости и визжат от удара сапога, как трусливые собаки... Но я сломлю твоё упорство, черт возьми!

И он решительно двинулся к ней, но Аня бросилась на другую сторону, и некоторое время они стояли друг против друга, разделенные столом, как два борца до решительной схватки.

Поняв, что он не догонит ее так, он молча сдвинул брови, стал толкать стол к стене, хотя Аня с своей стороны противилась этому.

Но ее силы начали ослабевать. Она с ужасом чувствовала это. Огненные круги вертелись у нее перед глазами.

«Погибаю!» — с отчетливой ясностью мелькнула у нее мысль.

VI

Копмар

Случилось чудовищное, невероятное по своему ужасу, чего нельзя было пережить. И когда Аню влекли по коридору назад в ее камеру, истерзанную, обезумевшую, она, как в тумане, видела бородатые лица сторожей, не чувствовала боли и знала только одно:

«Нужно умереть. Немедленно. Сейчас же, как за ней захлопнется дверь».

Жизнь — это был теперь один ужас; от него оставалось только одно спасение — смерть. В ее холодной безбрежно-

сти мог только оборваться яркий ужас воспоминания.

Только в ней одной.

Аню втащили в камеру и бросили на полу. Встать она не могла. Не слышала, как заперли дверь.

Так лежала она, распростершись грудью, чувствуя горячим лбом холодную остроту каменных плит, и в лицо ей мигали фосфорические, голубоватые огоньки электричества.

Легкие электрические сотрясения пробегали по ее телу, и к нему медленно возвращались силы, в то время как страдания духа становились все невыносимее и невыносимее,

Тело было теперь теми оковами для страдающего, оскорбленного и возмущенного во всем величии человеческого духа, которые он стремился сбросить во что бы то ни стало, и эти оковы крепли.

Аня медленно поднялась, опираясь руками о каменные плиты. Села. Инстинктивно откинула назад прядь волос, спустившуюся на лицо, и вдруг безумно вскрикнула: в углу колыхалась серая бесформенная фигура, протягивала к ней цепкие руки, отвратительной гримасой кривила лицо. И везде вокруг нее появились такие же фигуры. Они плыли на Анию, и все теснее и теснее сжимался их круг.

Остановившимся взглядом следила Аня за их приближением и, когда они бросились на нее, она вскочила стремительно, готовая к борьбе, и в этот миг все исчезло...

Опять голые стены, опять огоньки, и только сумрак, волнующийся в углах.

Проблеск сознания на миг осветил Ане действительность, но он же принес с собой жгучее ощущение реального ужаса, реального стыда...

— Саша! — беспомощно прошептала она. — Саша! ты видишь меня?! Ты простишь меня?!

Она сделала несколько шагов к своей убогой арестантской кровати и упала на нее.

Рой мыслей кружился в голове, страшных и милых, воскresавших отрадное былое, воскresавших и недавнее прошлое, переносивших ее опять к ужасным минутам борьбы насилия и страдания. Мысли, как зарницы, вспыхивали и гасли; точно огромный клубок разматывался перед нею, и нити

этого клубка была ее жизнь.

— Нет! Он не должен знать, не должен, — заговорила Аня торопливо, как бредят в горячке, — пусть я останусь для него чистой... Саша!

Она застонала.

Звон в камере. Звонят в колокола. Что это? Ясное весеннее небо. Солнце ласкает, целует свое теплотой лицо. Как ярко кругом, как все сверкает жизнью! Она — маленькая девочка, она в саду... Кусты роз расступаются перед ней... Но отчего же это томительное страдающее чувство в ее груди, боль страшной обиды? Предчувствие ли это того, что будет, или смутное воспоминание того, что свершилось когда-то и поглощено океаном времени.

И она знает, что как бы радостно ни звонили колокола, как бы ни сверкало солнце, как бы ни алели своими душистыми лепестками розы, вечно в ее душе будет этот тяжелый камень, этот мрак, это невысказанное горе.

Но кто это утешает ее? Да, это он... Только он может снять с ее души это бремя. И она уже не девочка: она такая же, как была.

Она ничего не говорит, она плачет, но он понимает ее без слов. И все мрачнее и мрачнее становится его лицо, обрываются его ласки, он отходит от нее, и она не в силах, не смеет протянуть ему руки.

И все темнеет вокруг... Блекнут розы. Звон еще раздается в воздухе, но это уже не радостный звон сверкающего утра, это погребальный звон вечера. Хоронят. Ее хоронят. Она лежит в гробу. Зачем этот гадкий арестантский халат, которым ее прикрыли?

Кто-то шипит над ее головой: «Вы нас загнали под землю, но ты теперь в моей власти... И я возьму тебя!»

Она леденеет от этого голоса и в последний раз протягивает руки к тому, кто только что ласкал ее, ласками хотел снять с ее души страшную тяжесть.

— Саша! Саша!

Но он не трогается с места и печально качает головой. Все бледнее и бледнее становится его фигура, его лицо. Пропадают. Пропали совсем.

Над ней наклоняется страшная голова с рыжими усами, отвратительная голова чудовища, и Аня содрогается и замирает под его взглядом, как под взглядом очковой змеи.

На груди, на руках — камни. Страшная, свинцовая тяжесть проникает все тело...

— Водой бы, ваше благородие, — говорит кто-то.

И все смолкает, все тихо.

Музыка. Тихая музыка, словно кто-то, грустный и нежный, перебирает пальцами по струнам арфы.

Розовая полоска зари обожгла темное небо, борется с темнотой и все властнее, все победнее разгоняет мрак.

Новая жизнь. Неужели это бессмертие, свобода?

Она поднимается вверх, такая же легкая, как воздух. Оттолкнулась ногой от темной сумрачной земли и летит на встречу розовым лучам победного света. Все сильнее и сильнее музыка. Это гимн. Гимн свету и счастью. Но она не может петь, опять поднимается в ней тревожное чувство, и оно бередит свежую рану.

Свинцовая туча надвигается на сияющую полосу зари, закрывает ее... Только узкая черточка пробивается еще сквозь густые свинцовые волны, и она уже не розовая, она пылает, как кровь. И гаснет, как брошенная в пропасть искра.

Опять мрак.

А к ней со всех сторон тянутся отвратительные, цепкие, мускулистые руки.

Кошмар борьбы, кошмар безумия...

И в этой фантастической борьбе Аня сорвалась с постели и опомнилась только в углу, у стены. Но все как-то переплелось в ее сознании: бред и явь, фантастические образы и холодные стены ее камеры.

— Умереть!

Словно успокоенная этой мыслью, Аня опустилась на пол, вынула из кармана носовой платок и, разорвав его на четыре лоскутка, принялась вертеть из них жгут.

Она делала эту работу внимательно и спокойно, и только неподвижное, точно мертвое лицо да безумные страдальческие глаза выдавали ее внутреннее состояние. Губы ее шевелились; она бормотала:

— Это венок мне... Это венок.

• • • • • • • •

Надзиратель докладывал смотрителю:

— В № 17 неспокойно. Кричит и мечется. Головой о стеноу бьется...

Невыспавшийся смотритель поднялся с дивана, на котором только что заснул, и сердито протер глаза.

— Черт... Хоть бы все они себе головы побили... Жить не дают, спать не дают...

— А теперь жгут из платка вертит. Не повесилась бы.

— Кто? — сердито бросил смотритель.

— № 17-й. К ротмистру водили.

— И сам я скоро повешусь с вами! Пусть ротмистр принимает мое место... Стрелять бы этих анархистов... Проклятая жизнь!

И, ругаясь, он начал одеваться, мало заботясь о том, что делается в № 17-м.

VII

Решительный шаг

Маленьким лучом надежды послужило для Александра Васильевича письмо от дяди из Финляндии. Бывший исправник оказался вдруг доверенным лицом премьер-министра.

«Моя теория, — писал он племяннику, — нашла сочувствие у правительства, которое намерено провести ее в жизнь.

Теперь я — директор департамента “полицейского социализма” при министерстве внутренних дел. Слово “социализм”, таким образом, вошло в лексикон правительственныйых слов, хотя моя теория — борьба с социализмом. Государственные умы видят глубже. Наш департамент помещается в Свеаборгской крепости, где — увы! — мы живем

под землей. Но уже готовится целый воздушный флот для борьбы с “Анархией”, и недалеко время освобождения страны от ее ударов».

Из этого письма Александр Васильевич вывел заключение, что дядя может спасти его жену, и немедленно послал ему телеграмму.

Опять затеплился перед ним колеблющимся пламенем обманчивый факел надежды.

Были часы и даже дни, когда Александр Васильевич был близок к самоубийству. Он обвинял себя в том, что ничего до сих пор не мог сделать для Ани. Что он только волновался, мучился, терзался мыслями, что, быть может, в ту минуту, когда он думал о ней, из страшной тюрьмы вынесли обезображеный электрическим ударом труп Ани.

«Было бы честнее, — думал он, — идти к этой тюрьме с теми бомбами, которые я спрятал от Ани, разбить ворота, проникнуть к ней, чтобы, по крайней мере, умереть вместе».

Но его поддерживал Пронский.

— Она жива! Я знаю это наверное! — утверждал он.

И эта упрямая уверенность товарища поддерживала Александра Васильевича, вселяла в него упорство в надежде, но без Пронского он чувствовал себя хуже.

У него явилась необходимость видеться с ним каждый день.

Отправив телеграмму дяде, Александр Васильевич немедленно пошел к Пронскому.

Была масленица, но Москва была похожа на большой пустырь. Экипажей на улицах почти не было, метрополитен не работал, изредка лишь показывались страшные, черные кареты-автомобили, в которых перевозили по тюрьмам арестованных.

Редкие прохожие боязливо пробегали по тротуарам, стоянясь друг друга, подозрительно косясь на каждого встречного, а посредине улиц медленно и мрачно проходили патрули воинских команд.

Развалины встречались на каждой улице. В развалинах была и часть кремлевской стены, обращенная к Александровскому саду, но теперь над ней трудился целый полк сол-

дат, воздвигая огромный земляной бруствер.

Начальство пользовалось временным исчезновением «Анархии», скрывшейся, чтобы появиться опять неожиданно и грозно.

И, странно, но многие ждали ее появления с нетерпением, потому что тогда затихали репрессии, принимавшие во время передышек эпидемический характер.

Подняв воротник пальто, несмотря на теплый, почти весенний день, Александр Васильевич быстро шел по тротуару, стараясь избегать встреч с патрулями, что не всегда было безопасно: прохожих часто захватывали по одному подозрению, а в тюрьме уже трудно было доказать свою невиновность.

И Александр Васильевич берег себя для Ани, для ее освобождения.

У Ильинских ворот он встретил санитаров с повязками «Красного Креста»: они подбирали раненых, а также умерших от истощения. В Москве начался голод. Уже несколько дней все съестные и продовольственные припасы были конфискованы администрацией и раздавались по определенным районам. Никто не смел продавать их от себя. Но, так как эти раздачи обыкновенно сопровождались арестами, — многие боялись появляться на них.

И такие люди голодали, хотя анархисты через свои коммуны заботились о голодающих.

Начались экспроприации, вооруженные грабежи, но не денег, а муки и хлеба: они стоили дороже денег.

Александр Васильевич обедал у Пронского, ухитрившегося достать себе два пайка, для себя и товарища. Но эти пайки были так скучны, что Пронский, любивший хорошо поесть, не раз уже задумывался об отъезде из «первопрестольной» столицы.

Это слово «первопрестольная» он произносил теперь с ядовитой иронией. И уехал бы непременно, если бы его не задерживало дело Ани. Он не мог оставить товарища, понимая, что вселяет в него бодрость.

Но он не поверил надежде Александра Васильевича на вновь испеченного директора департамента.

— Ничего он не сделает, — заявил он прямо. — Уже потому, что это освобождение идет в разрез с их планами. Но им невыгодно и казнить вашу жену. Вернее всего, они будут держать ее в тюрьме, пока не подавят анархии, на что они надеются, и не явится из Америки господин Синицын. Нужно освободить ее через анархистов.

— Я не могу никак попасть в коммуну, — мрачно ответил Александр Васильевич.

Надежда, которой он жил все это утро, погасла, как искра, упавшая в воду.

Пронский заметил впечатление, произведенное его словами.

— Неужели вы еще можете надеяться на «них»? — сказал он с легкой иронией. — Бросьте! Все это — чепуха. Но я могу обрадовать вас действительной надеждой: готовится освобождение всех заключенных, и для этого мы, революционеры, вошли в блок с анархистами.

— Когда? — вырвалось у Александра Васильевича.

— Скоро... Пока это еще неизвестно, но полагаю, что через несколько дней.

— Слушайте, я непременно хочу участвовать в ее освобождении, — волнуясь, проговорил Александр Васильевич.

— Я первым хочу войти в ее каземат!

— Отлично. Вы войдете в боевую дружины. Имейте в виду, что и мы, и анархисты смотрим на эту попытку, как на первый шаг к вооруженному восстанию.

И Пронский начал развивать свой план, фантазируя, как самый пылкий мечтатель. Свергнув правительство, он предполагал плебисцит, который должен был решить будущие формы жизни общества: социальную республику или коммуны анархистов. Социал-демократов он не принимал в расчет. Он не сомневался также, что народ не станет на сторону анархистов.

— Они подготовляют победу нам, — говорил он, потирая руки. — Мы созовем в Москве Учредительное собрание. Впрочем, я подам голос за предоставление анархистам свободных земель в Сибири. Пусть образовывают там свои коммуны: Сибирь нуждается в колонизации.

Александр Васильевич, несмотря на свое волнение, не мог не улыбнуться:

— Вы хотите сослать анархистов в Сибирь!

— Социальная республика дает им право образовать свои коммуны. Почему бы не в Сибири? Вы придираетесь к слову. Можно, конечно, дать Туркестанский край или север. Существует же в Атлантическом океане Карлосия?

Но Александр Васильевич не мог продолжать политического разговора. Его интересовало только освобождение Ани.

— Послезавтра, — сказал Пронский, — назначено тайное собрание в новом «храме демонистов». Я не знаю, где он помещается, но за нами придет сюда один мой знакомый. Чтобы не вызвать подозрений, туда будут собираться ночью и постепенно. Это собрание выработает план действий.

— Она все сбиралась побывать в этом храме, — проговорил Александр Васильевич. Он не мог без волнения слушать Пронского. Довольно бесплодных мучений, надежд, разочарований и томления. Его ждало дело, как мужчину, как освободителя. Первый настоящий шаг.

В нем уже не было разочарования, вызванного словами Пронского о бесплодности надежды ждать хорошего известия от кабинета, спасшегося в Финляндию. Только действительная сила, только энергия и мужество могли решить это дело.

Он чувствовал себя, как солдат перед битвой, которая должна была решить все.

— Скорей бы! — вырвалось у него.

— Если не считать сегодня, только один день волнений, — заметил Пронский. — А там все будет выяснено. Давайте обедать! Сегодня, по слухам масленицы, необыкновенное пиршество: выдали два фунта конину. Лошадей режут по всей Москве, так как их нечем кормить.

Приятели сели обедать. Этот нехитрый обед составляли сухари и похлебка из конины, которую Пронский сварил сам.

За обедом Пронский шутил и мечтал. Ему уже надоела жизнь в осажденном городе, в постоянной тревоге за жизнь.

Он мечтал о свободе.

— И знаете, как я научился понимать свободу? — шутливо спросил он Александра Васильевича. — Вот теперь, когда я грызу этот жесткий кусок конины?

— Как? — машинально спросил тот.

— Свобода — это мягкий бифштекс с хорошо поджаренным картофелем, который я ем в полной уверенности, что за дверьми не стоит околоточный, а по улице не шагает патруль с заряженными ружьями!

Рано утром следующего дня Александр Васильевич получил ответ от дяди с сухим отказом. Дядя, изображая уже собой правительство, телеграфировал:

«Ничего сделать не можем. Для нас на первом месте долг».

Но этот отказ не произвел на Александра Васильевича никакого впечатления. Он ждал следующего дня и сейчас же перебрался на жительство к Пронскому.

Телеграмма могла повлечь за собой нежелательный визит полиции и заставляла быть осторожным. Впрочем, в тот же день опять появилась «Анархия», и репрессии приостановились.

VIII

У демонистов

Бушевала метель — мартовская метель с хлопьями мокрого снега и мутным небом, которое мешается с такой же мутной землей в одну туманную беспросветную мглу. Ветер яростными порывами налетал на молчаливую Москву, утонувшую в мутной мгле, в которой медленно скользил падавший сверху луч прожектора невидимой «Анархии».

Он рассекал эту мглу, точно огненный меч сатаны, опущенный на нечистую землю, зловеще холодный и неотразимый. И в его яркой полосе в бешеной пляске кружились снежные хлопья, невидимые во мгле.

Нервно настроенный, вздрагивая от порывов ветра, бившего в лицо, двигался Александр Васильевич за Пронским и его спутником.

Приходилось идти далеко, за Калужскую заставу, где на одном из заброшенных кирпичных заводов находилось подземелье с «храмом демонистов».

На улицах не было ни души, но путники шли осторожно, опасаясь засады или неожиданного выстрела из полицейского блиндажа, так как на улицах запрещалось показываться с наступлением сумерек.

Выйдя на улицу ночью, они были уже вне закона, ограждавшего жизнь граждан. Закон сменили инструкции диктатора, и по этим инструкциям городовой, вооруженный электрическим пистолетом, являлся хозяином жизни любого прохожего.

Но товарищ Пронского вел их с уверенностью опытного проводника, минуя опасные места, через дворы, и в двух или трех местах путникам пришлось перелезать через заборы. Отвыкнув от таких гимнастических упражнений, Александр Васильевич сильно измучился, когда они вышли, наконец, за заставу.

В поле была одна сплошная белая муть, но провожатый, убежденный демонист, смело шагнул в сторону с дороги, запорошенной снегом.

Сделал несколько шагов и остановился, прислушиваясь к ветру.

— Слышите, — сказал он, протягивая руку, — слышите этот гул разбушевавшейся стихии? Разве вам не чудится в нем божественный гнев демона мира?

— Я больше всего боюсь, дорогой мой, чтобы мне не провалиться в кирпичную яму, — шутливо возразил ему Пронский.

«Нашел время для проповеди», — с неудовольствием подумал Александр Васильевич; проповедник показался ему дикарем, готовым поклоняться солнцу или луне, но, благодаря нервно настроенному воображению, в его глазах засияли искры.

«Неужели у меня могут быть галлюцинации?» — подумал

мал он.

Спотыкаясь и кружась, теряя направление, они добрались, наконец, до низкого, занесенного снегом строения завода, часть которого была разрушена, и крыша сползла на землю. Здесь, между штабелями кирпичей, проводник, с помощью электрического фонаря, нашел деревянный люк, ведущий в подземелье.

С некоторым волнением Александр Васильевич спустился туда за Пронским.

Почти отвесные каменные ступени вели вниз, в глубокий колодец, со дна которого дрожал слабый голубоватый свет. В этом свете, уже в одном, было что-то загадочное и мистическое.

Но когда они спустились на дно колодца, мистический свет оказался простым светом керосиновой лампы, прикрытой матовым шаром.

Здесь начиналась довольно просторная комната с деревянным полом и деревянными стенами, выкрашенными в черную краску. Посредине одной стены была полукруглая арка, завешанная черной же суконной портьерой с белыми звездами.

Вся комната была похожа на гроб и произвела на Александра Васильевича неприятное впечатление, не без примеси жуткого чувства.

Пронский отдернул портьеру, и они вошли в сравнительно большой подземный зал, скрупульно освещенный тремя свечами, горевшими у терявшегося в сумраке очертания алтаря, задрапированного во все черное. И, освещенная колеблющимся пламенем свечей, на алтаре выделялась черная фигура демона со слегка наклоненной головой и со скрещенными на груди руками.

Сбоку, у стены, витая лесенка вела на кафедру, как в католических церквях, и симметричными рядами тянулись перед алтарем скамьи, на которых уже сидели люди. Слышался глухой говор. В углу кто-то курил папиросу, и его красный огонек то вспыхивал, то угасал в темном сумраке.

Стены здесь тоже были задрапированы сукном.

— Олицетворение силы, которая, стремясь ко злу, творит

одно добро, — указал проводник на фигуру демона.

— Н-да... а все-таки вы — ненормальные люди, — шутливо заметил ему Пронский. — А каббалистикой вы не занимаетесь?

— Я вовсе не желаю быть миссионером, — вместо ответа сказал тот. — К чему?! Всякий верит, во что хочет. Или в пресно-сентиментальное добро, или совсем ни во что. Мы ищем истины и гордимся этим стремлением, как гордился им демон. И... он еще победит! — добавил он каким-то зловеще пророческим тоном. — А каббала — это одна из трошинок искушений в области таинственного. Ведь признают же ученые гипнотизм и спиритизм?.. Здесь у нас есть комната ясновидения, в которой происходят гипнотические и каббалистические сеансы. Собрание, наверное, не скоро откроется, хотите, я покажу вам ее?

— Видел я ее, когда вы еще на Арбате обретались, — беззаботно отказался Пронский. — Ничто на меня не подействовало. Я после этого дьявольского похода лучше посижу и выкурю папиросу.

Он решительно направился к скамьям.

— А я бы побывал, — сказал Александр Васильевич. На него, как на нервного человека, действовала эта мистически-таинственная обстановка, вся эта бутафория, предназначенная влиять на воображение, а не на ум.

— Пойдемте, — сказал проводник.

Проходом, между скамьями, они направились к алтарю. Проходя мимо демона, Александр Васильевич невольно вздрогнул и остановился. Он где-то видел это тонкое, тоже словно высеченное из камня, но живое, полное холодной иронии и равнодушной злобы лицо.

— Вы знаете его? — тихо спросил проводник, заметивший и понявший это движение. — Это — Дикгоф. Лицо выплено с него. Прежде он был убежденным демонистом, но теперь атеист. Сегодня он будет здесь.

— Да, да! Я видел его... я знаю... — пробормотал Александр Васильевич.

Яркое, больное воспоминание об Ане обожгло его. Этот человек подчинил ее своей воле. Он ненавидел его, но вме-

сте с тем невольно чувствовал его нравственную силу, его превосходство над собой.

«Демон!» — подумал он.

Они миновали алтарь и через боковую дверь прошли в небольшую комнату, тоже всю черную, с потолком в виде свода. Здесь не было никого. Посреди комнаты стоял черный табурет. Повешенный в куполе свода круглый желтый фонарь бросал странное освещение на черный холод стен и казалось, что по всей комнате ходят смутные волны сумрака, прозрачного, как легкий дым.

— Сегодня у нас нет священника, — сказал проводник, — но если вы хотите испытать демоническую силу, садитесь на табурет и думайте о том, кого хотите увидеть, смотря прямо перед собой. Страйтесь настроить себя так, чтобы ваше желание было мучительно и непреклонно, чтобы оно овладело вами, чтобы вы жили одним этим чувством, — и вы увидите чудеса. Я оставлю вас.

Он зажег на маленькой черненькой полочке ладан в черной курильнице и вышел, затворив за собой дверь.

Со странным чувством недоверия и волнения Александр Васильевич сел на табурет и устремил взгляд на курильницу. Легкий сизый дымок вился оттуда, наполняя воздух запахом ладана и каких-то одуряющих духов, от которых слегка кружилась голова.

В комнате была могильная тишина.

— Хочу видеть Аню! — сказал сам себе Александр Васильевич. — Хочу видеть Аню!

Легкий звон в ушах. Сизые волны стелятся по всей комнате и точно качают его. Кружится голова.

— Хочу видеть Аню!

На этой мысли он напряг всю силу воли. Состояние самогипноза, самовнушения овладевало им все более и более, а сознание действительности как будто уплывало кудато вместе с качающимися сизыми волнами, становилось неощущительным, туманным. Он как будто бы раздвоился, смотрел на самого себя со стороны, видел свое лицо, фигуру, сжатые на коленях руки.

— Хочу видеть Аню!

Туман заслоняет зрение. Желтый, светлый туман. И в нем белыми, блестящими звездами падают искры. Сышен легкий и глухой стук, ритмически правильный и однобразный.

Начинают мигать огоньки. Голубовато-бледные огоньки, словно слабые электрические искры. Туман рассеивается, раскрывается, точно занавес. Серые стены тюрьмы. Железная койка. Фигура человека в арестантском халате. Женщина. Белый платок сбился с головы, и золотистые волосы непослушными прядями сползли на лицо и плечи. Глаза смотрят вперед безумно и неподвижно. И шевелятся губы, словно она говорит с ним, хочет сказать ему про свои страдания...

Вот она схватила себя за голову и дрожит от рыданий... Протягивает к нему руки...

— Аня!

С безумным криком бросился он к ней, и все пропало, все скрылось, и тяжелый холод забытья покрыл его сознание.

IX

Раскол

Александр Васильевич очнулся от гула голосов, проникавших в комнату сквозь запертые двери. Еще полный трепета от охватившего его острого чувства горя, сознания своего бессилия и желания броситься к ней на помощь, он сразу понял действительность. Этот гул голосов звал его, ободрял, будил энергию.

Там, в этой шумевшей толпе, он мог, наконец, найти помощь. Эта стихия-толпа могла вынести его из безнадежности и отчаяния в светлый мир радости и покоя.

Он встал и бросился в дверям.

Странная картина представилась ему, когда он раскрыл дверь и откинул драпировку: все помещение было запру-

жено людьми. По стенам горели зеленые фонари, и лица собравшихся людей казались бледными, как лица мертвцев. И у этих мертвцев ярким возбуждением горели глаза.

Толпа кипела и волновалась, мешая говорить оратору, стоявшему на кафедре.

Это было столкновение двух течений, двух вихрей, которые образуют водоворот, образуют бурю...

Какой-то совершенно незнакомый человек схватил Александра Васильевича за плечо.

— Слушайте, — вскрикнул он, — анархисты хотят воспользоваться нами, как рабочей силой, чтобы потом торжествовать победу! Разве может при таких условиях существовать свободный блок?

Он принимал и Александра Васильевича за социалиста-революционера.

Слова Пронского о предоставлении анархистам свободных земель в Сибири или Туркестане невольно вспомнились Александру Васильевичу, и он с ужасом подумал, что распался едва налаженный союз, который мог освободить несчастных заключенных «Бastiлии».

Так называли новую тюрьму в широких кругах общества.

Не ответив задержавшему его незнакомцу, он бросился в самую толпу. Его душила злоба, негодование, печаль. Он хотел крикнуть, что не время враждовать, не время отставать партийные интересы, когда люди гибнут под землей в каменных мешках. Что их собрание не партийное, а собрание освободителей, у которых нет счетов друг с другом.

Он хотел крикнуть им: «Опомнитесь!» и не мог. Спазма сдавила горло, и он смотрел на толпу, на всех этих возбужденных людей, как на врагов, как на ослепленных, чуждых в эту минуту вопросов человечности.

Его горе, его счастье тонуло, как песчинка, в этом все-захватывающем, вседовлеющем возбуждении толпы. Он чувствовал в эту минуту страшную, самодержавную власть толпы над отдельной человеческой личностью, над самим собой.

Каменное изваяние демона бесстрастно, с холодной усмешкой смотрело на бушевавшее человеческое море, точно издаваясь над этими людьми, бродившими в потемках вокруг истины, — так казалось Александру Васильевичу; он бросил на него живой, полный ненависти человеческий взгляд, и этот взгляд встретился со взглядом другого человека, стоявшего возле алтаря.

Александр Васильевич сразу узнал эту высокую и худую фигуру со скрещенными на груди руками и с бесстрастным холодным лицом. Это был двойник демона; это был Дикгоф.

Александр Васильевич рванулся к нему, расталкивая толпу, в которой на него смотрели, как на безумного. Он не видел теперь никого, кроме этого главного, по его мнению, виновника страданий Ани и своих собственных.

Его остановил Пронский. Он был взволнован и не обратил внимания на состояние товарища.

— Анархисты требуют подчинения себе! — вскричал он.
— Они не могут понять, что мы все должны подчиниться воле народа, которая выразится в Учредительном собрании! Их свобода явится деспотизмом для нас!

— Он... Сам он! — вместо ответа вскрикнул Александр Васильевич, вырываясь от товарища.

— Кто он? — изумленно воскликнул Пронский.
— Дикгоф! Их глава. Я потребую от него освобождения!
— Браво, браво! — закричали стоявшие вокруг.

Это были революционеры, принявшие Александра Васильевича за члена своей партии и рукоплескавшие его возбуждению.

И только Пронский понял настоящую причину этого возбуждения, понял, что за партийными интересами забыл главную роль, для которой они пришли сюда, и ему стало неловко перед товарищем. Он бросился за ним, чтобы поддержать его в решительную минуту.

Но около Дикгофа сплошной стеной стояли анархисты. Ни Александр Васильевич, ни Пронский не могли пробиться сквозь эту живую стену.

Дикгоф говорил. Его резкий металлический голос по-

крывал здесь стоявший в храме гул голосов, и его слова могла слышать почти половина собравшихся.

Оратор-революционер давно уж кончил свою речь и, махнув рукой, спустился с кафедры. Теперь говорил Дикгоф.

Его речь была сплошной дифирамб анархии. Он говорил убежденно, говорил красиво, и эта холодная красота еще более оттенялась его металлическим и ровным голосом.

— Революционеры требуют от нас вооруженного восстания немедленно, решительной схватки с противником. И Учредительного собрания после победы. Нас меньше, чем революционеров. А если они вступят в блок с социал-демократами, их будет преобладающее количество. Учредительное собрание изречет нам смертный приговор, и с нами будет поступлено, как с коммунарами в Париже. Нет, наша тактика правильнее! Блокада «Анархии», — что это, как не вооруженное восстание? Но вооруженное восстание, поставленное в такие условия, при которых у нас больше шансов на победу. Пройдет еще полгода — и побежденное правительство подпишет свой смертный приговор. Мы возгласим на весь мир начала будущей свободной жизни, ибо анархия — идеал свободы. Мы принудим перешагнуть через цепи старых предрассудков тех, которые жмурятся от ослепившего их света, ибо сделаем это во имя действительно свободного человека! Мы считаем себя обладателями истины, величайшей истины, которой достигло человечество; мы горды этим сознанием, и уже потому не можем втеснить себя в рамки условности, которые предлагают нам революционеры. Ибо демократизм есть ничто без полной свободы человеческой личности — свободы без границ! И если революционеры отталкивают протянутую нами руку, то в этом виноваты они одни!

Гром рукоплесканий анархистов покрыл эту речь. Революционеры молчали, но тотчас же один из их среды попросил слова.

— Все уже пересказано, — закричали несколько голосов. — К чему бесполезные прения?

— Свободные анархисты лишают нас свободы слова! — ответили насмешливые голоса.

— Мы никогда не согласимся на ваши условия!

— В таком случае, нам здесь нечего делать. Мы уходим! И революционеры потянулись из храма.

— Вопрос исчерпан... Блок не состоялся! — сказал кто-то рядом с Александром Васильевичем.

— Нет, не окончен! — воскликнул Александр Васильевич, рванувшись вперед.

Теснившиеся перед Дикгофом люди расступились перед ним от этого вскрика, и Александр Васильевич очутился лицом к лицу с «повелителем» анархистов, командиром воздушного корабля.

Дикгоф с некоторым изумлением посмотрел на этого бледного, возбужденного человека, неожиданного противника, лицо которого показалось ему знакомым.

— Вопрос не исчерпан, — в лицо ему воскликнул еще раз Александр Васильевич. — Он не может быть исчерпан, когда под землей томятся сотни осужденных, которые завтра будут мертвые.

Он дрожал от волнения. Голос у него прерывался.

— Чего же вы хотите? — спокойно спросил Дикгоф.

— Я не хочу! Я требую! — возразил Александр Васильевич. — Я требую, чтобы вы освободили тех невинных, которые благодаря вам томятся в каменных мешках; освобождения тех, которые попали в ваши сети!

Он бросил ему в лицо это слово «сети», как оскорбление, как вызов, не думая о последствиях, которые могло это иметь,

— Ого! — сказал кто-то рядом с ним.

В этом возгласе было и удивление и угроза.

Вокруг глухо зашумели.

— Александр Васильевич! — окрикнул его встревоженный Пронский, но его голос пропал даром.

— Кто вы такой? — холодно спросил Дикгоф. — Вы, конечно, революционер? Я вас видел где-то...

— Я не анархист и не революционер. Я просто свободный человек. Был у вас в коммуне по поручению жены. Теперь она в тюрьме. Из-за вас... Из-за вашего дела, в которое я не верю. Вы поступили с ней, как полководец с пушечным мя-

сом. Вы послали ее и бросили, потом забыли о ней. На страдания, на смерть. И когда возможна была попытка к освобождению, вы бросили ее из-за политических споров. Как человек, как муж, я требую от вас, — слышите ли, требую, — ее освобождения! И если вы откажете мне, я назову вас убийцами, я буду мстить вам, как может только мстить испытавшийся человек! Пусть я погибну, но вы не сломите мою душу.

— Гражданин, так нельзя говорить! — крикнул кто-то в упор Александру Васильевичу.

Но Дикгоф остановил неожиданного оппонента.

— Товарищи, он прав! — сказал он ровным и по-прежнему спокойным тоном. — На нас одних лежит обязанность освободить заключенных. И мы это сделаем.

X

Подкоп

Отделившись от анархистов, социал-революционеры не оставили, однако, мысли об освобождении арестованных в подземной тюрьме и о вооруженном восстании. Но теперь они рассчитывали исключительно на свои силы и на блок с социал-демократами. На другой день по всей Москве проходили немноголюдные митинги, а полицейские беспроводные телефоны то и дело принимали обрывки разговоров, которые велись по всем направлениям.

Администрация была на чеку. Боялись только одного: что военные команды, беспрекословно употреблявшие в дело оружие против анархистов, откажутся поднять его против социал-демократов и всемирного рабочего союза. Тем более, что в армии было много членов этого союза.

В высшей степени тревожное положение усугублялось тем, что «Анархия» по-прежнему плавала над Москвой, как ястреб, высматривающий добычу.

Готовилась борьба на жизнь и смерть; борьба между тре-

мя противниками.

Пронский тщетно справлялся об Александре Васильевиче; он исчез после памятного собрания в храме демонистов.

Пронскому так и не удалось узнать, что предпримет Дикгоф, не удалось и поговорить с товарищем. Он вернулся из подземного храма один. Цветков остался с анархистами.

Пронский знал только, что анархисты сами по себе предпринимают освобождение заключенных и, вероятно, с помощью своего воздушного корабля. Но он сомневался в том, что это может быть выполнено скоро. Он думал, что «Бастилию» раньше анархистов возьмут силы соединенного блока.

Ему представлялась картина вооруженного восстания, как бурный порыв, сметающий прочь всю накипь, всю «пыль времен», как гроза, освежающая воздух, после которой наступает тихое и ясное утро.

Он ждал сигнала.

А в это время таинственно, известная только очень немногим, начиналась грандиозная подземная работа: анархисты под руководством Дикгофа начинали подкоп под страшную подземную тюрьму.

Вместо открытого штурма, на который надеялись революционеры, рассчитывавшие увлечь за собой толпу и часть войска, анархисты избрали медленный, но более верный способ — войны подземной.

На совещании, на котором в качестве волонтера присутствовал и Александр Васильевич, было решено начать подкоп.

— «Анархия» не может действовать торпедами против тюрьмы, — сказал на этом совещании Дикгоф, — так как при таком способе могут пострадать и заключенные. Кроме того, сама «Анархия» может быть разбита мортирами. Мы должны избрать способ более верный и менее истребительный. Этот способ — подкоп. Чтобы не возбудить подозрений, мы начнем этот подкоп с расстояния около версты и тоннелем пройдем под тюрьму...

— Но сколько же времени займет эта грандиозная работа?! — воскликнул Александр Васильевич.

— Менее, чем вы думаете. Не более двух недель!
— Тоннель в версту — в две недели!

Александр Васильевич был поражен. Недоумевали и сорвавшиеся. Один Дикгоф спокойно наблюдал за общим изумлением.

— Мы возьмем с «Анархии» запасную электрорадиальную машину, — сказал он, — которая развивает 40,000 лошадиных сил. В остальном положитесь на меня. Подкоп начнется со двора пустующей фабрики на берегу Москвы-реки, которая принадлежит одному из членов нашей организации. Большую часть вынутой земли унесет река, оставленная будет перенесена в здания фабрики и разбросана по двору. Конечно, мы позаботимся, чтобы ни одно живое существо, кроме нас, не проникло на фабрику.

Темной ночью, когда Москва была погружена во мрак, над огромным двором полуразрушенных зданий фабрики появилась «Анархия». Огни ней были потушены, и висящий в воздухе ее огромный черный корпус теперь особенно напоминал живое чудовище.

На дворе бегали и суетились люди. Здесь был и Александр Васильевич. Два дня он уже жил здесь в маленькой грязной комнатке одного из наиболее сохранившихся зданий и в лихорадочном нетерпении наблюдал за приготовлениями к грандиозной работе.

В первый раз он видел так близко от себя это страшное изобретение человеческого гения, которое держало в осаде всю европейскую Россию.

Прижавшись к стене, он смотрел, как черная тень, словно туча, закрыла над ним небо, порыв ветра от взмаха крыльев чуть не сбил его с ног и поднял на воздух целую кучу песка и снега.

— Берегись! — крикнул кто-то, и черная масса с глухим стуком опустилась на землю.

«Анархия» стояла на земле.

Около нее сейчас же забегали и засуетились темные фигуры людей, с металлическим лязгом открылось отверстие люка, и оттуда блеснул свет.

— Принимай машину! — сказал голос, в котором Алек-

сандр Васильевич узнал Дикгофа.

Оторвавшись от стены, он бросился на этот голос.

Корпус стоявшей на земле «Анархии» напоминал туловище кита, выброшенного на берег, превосходя его своими размерами, полусложеные крылья висели над землей, как огромные навесы. В полосе света, вырывавшегося из люка, копошились люди и тянулись веревки с наскоро устроенного сегодня вечером небольшого подъемного крана. Над освещенным люком на палубе «Анархии» стоял Дикгоф, отдававший приказания.

— Здравствуйте! — крикнул ему Александр Васильевич.

Его отношения к главе анархистов теперь резко переменились. Он видел в нем освободителя. Человека, сделавшего решительный шаг для спасения Ани.

И, относясь по-прежнему отрицательно к целям и деятельности анархистов, он видел теперь в Дикгофе человека, способного откликнуться на человеческое несчастье.

Представление о нем, как о каком-то демоне, сглаживалось и расплывалось.

— А, это вы! — ответил Дикгоф. — Сегодня вы будете удовлетворены: через несколько часов мы начнем работу.

— С этими людьми? — невольно спросил Александр Васильевич, оглянувшись на небольшую группу людей, возвившихся с подъемным краном.

Грандиозность работы заставляла его думать и о большом количестве рабочих сил.

— Да, с этими. Все сделает машина. Анархий и радий в соединении с электричеством пробьют нам дорогу в несколько раз скорее, чем сделают это сотни рабочих. Сегодня мы пустим в действие бурав. Посторонитесь! — крикнул он, так как в этот момент из люка на канатах показалась необыкновенная машина, тускло блестевшая от света стальными частями. Это было нечто среднее между динамомашиной и газовым двигателем, но какой-то еще невиданной Александром Васильевичем конструкции. Она не отличалась особыми размерами, и трудно было поверить, что она может развить такую страшную силу, о которой говорил Дикгоф.

Машина поднялась на канатах в воздух и медленно опустилась на подготовленную низкую платформу, которую собравшиеся с веселыми возгласами покатили к главному зданию фабрики, откуда должен был начаться подкоп.

С палубы «Анархии» спустили трап, и Дикгоф сошел по нему на землю вместе с тремя незнакомыми Александром Васильевичу людьми.

Они поздоровались.

— Дай Бог, чтобы ваше гениальное изобретение служило скорее для мира и прогресса, — сказал ему Александр Васильевич.

— Оно и служит для этого, — ответил тот. — Минует время борьбы, и вы увидите, что дадут людям летательные машины! Эта штучка, — он любовно, как живое существо, похлопал рукой по стальной обшивке «Анархии», — произведет переворот в человеческой жизни. Самые великие революционеры — это техники и изобретатели. В корабле несколько десятков тысяч пудов, и между тем, достаточно нажать пальцем кнопку электрического провода, чтобы вся эта грандиозная тяжесть взлетела кверху, как перышко. Тогда начинают работать крылья. Скорость, которая может быть развита при полете, — 300 верст в час. Я строил ее шесть лет, в Сибири, в глухом уголке, куда тщательно охранялся доступ всем непосвященным. Работали вместе со мной пятьдесят человек, которые составили экипаж «Анархии». И когда мы победили, наконец, воздух, мы уничтожили все принадлежности работы, все чертежи и взорвали завод. Нога непосвященного еще не была на «Анархии», вот почему я и не зову вас на корабль. Это тайна, которую я подарю людям, когда на земле будет обеспечена совершенная свобода.

Александр Васильевич молча пожал ему руку. Им все более и более овладевало удивление перед этим необыкновенным человеком. Он ясно понимал теперь, что впечатительная Аня должна была всецело подчиниться его влиянию.

Это соображение заставило даже шевельнуться в нем маленькому чувству ревности, но он поспешно отогнал это

чувство, показавшееся ему смешным и нелепым.

Нужно было думать только о ее спасении.

И невольно им овладел страх, что этому спасению могут помешать в те две недели, когда они будут бороться с землей, вырывая в ее недрах путь к свободе для сотни обреченных на смерть.

— Слушайте, — воскликнул он, — ведь за «Анархией» следят! Вероятно, видели, что она опустилась сюда. Нагрянут войска, полиция — и все будет потеряно.

— Вы начинаете трусить, — усмехнулся Дикгоф. — Кругом фабрики вся местность нами минирована и, чтобы взять ее, нужно погубить несколько тысяч человек. Мы неуязвимы в этой крепости. Поверьте, что полиция это знает и не сунется сюда. Кроме того, они убеждены, что с такого дальнего расстояния мы не начнем подкопа. Да они и потеряли нас... Посмотрите, вон нас разыскивают из Кремля!

Действительно, к небу тянулся молочно-бледный луч прожектора и нащупывал темные, медленно ползущие по небу облака, как гигантские щупальцы.

— Они нас проморгали! — усмехнулся опять Дикгоф. — Они беспомощны в борьбе с нами. Поверьте, что только благодаря этой беспомощности я еще щажу их жизни. Действуя энергично, я мог бы в неделю превратить в развалины и Москву, и Петербург... Но это будет, — добавил он с мрачной решимостью.

Они пошли на фабрику.

В громадном корпусе, где не было ни пола, ни потолка и над стенами которого висела одна проржавевшая крыша, устанавливали уже взятую с «Анархией» машину. Здесь распоряжался и командовал небольшого роста человек в шведской кожаной куртке, с загрубелым лицом простого рабочего.

Работа кипела; на земле валялись огромные круги приводных ремней, белели штабели заготовленных досок, блестела сталь огромного бурава.

Человек в кожаной куртке подал Дикгофу чертеж. Это был план подкопа.

Александр Васильевич с любопытством взглянул на эту интересную бумагу.

— Мы спустимся на десять сажен под землю, — сказал Дикгоф, — и со дна этого колодца пойдем в кратчайшем направлении к тюрьме. Необходимо миновать канализационные трубы и мины, если они заложены перед тюрьмой.

Александр Васильевич с энергией сам приняллся помочь работавшим, подчиняясь команде человека в кожаной куртке. Он таскал ремни, пилил толстые брусья, предназначавшиеся для установки бурава, брался за лопату и кирку.

Пот лил с него градом, но эта грубая физическая работа увлекла его. В ней выражалось его стремление к Ане для ее спасения.

И когда, под утро, загудела машина и огромный бурав моментально впился в землю, отвоевывая от нее право на свободу и жизнь, Александр Васильевич с отрадным облегчением подумал, что теперь он уже несомненно идет к Ане и ничто не сломит энергичной работы.

XI

Под землей

Человек в кожаной куртке оказался славным малым. По профессии он был техник, но самоучкой изучил инженерное дело и теперь, под руководством всезнающего Дикгофа, вел подкоп. Прежде он был социал-демократом, но, отчаявшись добиться чего-нибудь существенного при современной тактике правительства, бросил партию и стал отъявленным анархистом. Его звали Семеном Ивановичем.

Александр Васильевич был в восхищении от его энергии. Шипел бурав, безостановочно двигались вагонетки, увозя землю, и все дальше и дальше продвигалась вперед подземная галерея. Старые доски, кирпич с фабрики — все шло в дело; воздушный насос, приводимый в действие все той же могучей машиной, нагнетал в галерею необходимый воздух.

Главную работу исполняла машина. Людям оставалось только набрасывать землю на вагонетки. Разбившись на три смены, они вели работу и днем и ночью.

Александр Васильевич работал вместе с ними, сделавшись простым землекопом. Перепачканный землей, усталый физически, но бодрый духом, он черпал эту бодрость в работе. Утомившись за день, он засыпал тут же, в галерее, на войлоке, под шум работы и стук лопат и тачек. Через несколько дней он потерял представление о дне и ночи. Засыпая и просыпаясь, он видел одни только коричневые глиняные стены, освещенные ровным светом электрических лампочек, и вечно бодрствующего Семена Ивановича.

Александр Васильевич не мог понять, когда тот спит.

— Работать так работать! — весело отвечал на его вопросы Семен Иванович. — Работа — наказание, когда идет под принудительным ярмом, и наслаждение, когда она свободна. А тут и цель такая, что заставляет забывать усталость. Вот еще несколько дней, — и мы очутимся под тюрьмой.

— Под тюрьмой! — радостно вторил ему Александр Васильевич.

— «Они» ждут опасности сверху и ушли от нее под землю, а она явится для них снизу. На войне так именно и нужно поступать. Через несколько дней под тюрьмой, а оттуда воронкой кверху. Маленький взрыв — и мы в тюрьме. Было бы очень недурно, если бы дружины социал-революционеров бросились в этот момент на штурм «Бастии».

— А если мы не успеем вывести заключенных по нашей галерее? — спросил Александр Васильевич.

Эта внезапная мысль ошеломила его. Неужели могла оказаться бесплодной эта поистине Сизифова работа?

— Это уже Дикгоф придумает, — убежденно ответил Семен Иванович. — Наше дело — провести подкоп, а остальное пусть он. Если Дикгоф взялся за дело, он доведет его до конца, будьте покойны!

Обаяние этого замечательного человека захватывало и Александра Васильевича, но он по-прежнему твердо отстаивал перед этим обаянием свои убеждения. «Все-таки я никогда не сделаюсь анархистом», — думал он.

Дикгоф регулярно появлялся в подземной галерее. Он приходил сосредоточенный и молчаливый, всецело занятый работой, проверял направление, план и отмечал в записной книжке пространство, отнятое у земли.

— Сегодня мы прошли ровно версту, — сказал он однажды Александру Васильевичу. — Скоро придется убрать вагонетки, машину и действовать одними лопатками. Мы вблизи «Бастилии».

— Уже! — воскликнул Александр Васильевич.

— Два корпуса фабрики сплошь набиты землей, а сколько ее спустили в реку! Хорошо, что наступило половодье. Весна в полном разгаре.

— А казней... не было?

Он не мог спросить прямо, жива ли Аня. Он боялся самого слова «смерть», соединенного с ее именем, но Дикгоф отлично его понял.

— Она жива. У нас есть сведения. Но крови льется достаточно. Уже было несколько стычек войск и полиции с боевыми дружинами социал-революционеров. Часть города около Тверской обращена в груду развалин. Вчера горело Замоскворечье, и некому было тушить пожара. В Петербурге то же самое. Сегодня я наблюдал сражение на Невском проспекте и у Николаевского вокзала. Да, вот еще новость: Берлин взят социал-демократами. Германской империи, кажется, пришел конец.

Эти новости ошеломили Александра Васильевича.

— Значит, всеобщий переворот? — спросил он.

— Да. Правительство пытается сохранить положение путем уступок социал-демократам, но это — последняя агония. Переворотом воспользуемся мы!

Он гордо и самонадеянно бросил эту фразу с уверенностью полководца, уже предчувствующего победу.

И в этом маленьком подземном мирке, где люди были заняты одной работой, где было так дружно и так мирно, Александру Васильевичу особенно странны были эти вести с мятущейся земной поверхности.

Работа кипела, подкоп уже приближался к концу, как вдруг случилось неожиданное препятствие: сломался бурав,

наткнувшийся на каменную стену.

Тотчас же лопатами очистили место поломки и очутились перед стеной, сложенной из крупного плитняка, крепкого, как железо и пролежавшего в земле несколько столетий.

— Откуда на такой глубине могла оказаться стена? — недоумевал Семен Иванович. — Ведь это настоящая постройка. И камни срослись между собой так, что их не сдвинешь. Вот так штука! Придется обходить это препятствие. Экая досада, что сломался бурав!

Но шурфы в обе стороны дали плачевые результаты. Стена далеко тянулась и вправо и влево, а сломанный бурав не давал возможности вести работу с прежней быстротой.

Работа остановилась. Даже энергичный Семен Иванович был смущен, что же касается до Александра Васильевича, то он был близок к отчаянию.

Неожиданная остановка на пороге решительного результата, после стольких дней кипучей работы, надежды и волнений, — это сразу сломило его энергию.

Он решил, что умрет здесь, вблизи от нее, но уже не вернется назад. Останется в этой готовой грандиозной могиле.

Но общее смущение рассеял Дикгоф.

Подштукив над обескураженным Семеном Ивановичем, он приказал немедленно оттачивать бурав и осмотрел стену.

— Эти камни сложены в четырнадцатом или пятнадцатом столетии, — сказал он. — Я не понимаю одного, как они могли так глубоко уйти в землю? Вероятнее всего, что в самом начале это была подземная постройка.

Придется взорвать стену, — решил он после детального осмотра. — Правда, мы дадим сигнал нашему противнику, но мы так близко от тюрьмы, что ворвемся в нее прежде, чем «они» успеют что-нибудь предпринять. За работу, товарищи!

Ручными буравами с великим трудом удалось просверлить в стене отверстие в фут глубиной, и туда был положен самый маленький заряд анархия. Провели электричес-

кий запал, сделали заклепку и очистили от работавших людей и вагонеток большую часть галереи.

Дикгоф нажал электрическую кнопку.

Раздался глухой подземный удар, на несколько секунд погасло электричество, и с шорохом со стен и потолка посыпалась земля.

Но вот электрические лампочки снова зажглись, и люди гурьбой бросились к месту взрыва.

В непроницаемой стене зияло отверстие, в которое свободно могли пройти три человека.

Перед вошедшими в это отверстие открылся каземат, полузасыпанный землей. Электрические фонари разогнали вековую темноту этой могилы.

Вне всякого сомнения, это была тюрьма. Подземная тюрьма времен Ивана Грозного. Ржавые обрывки цепей висели со стен и обрывались от легкого толчка руки. Тут же валялись человеческие кости, черепа, молчаливо смотревшие на живых людей черными впадинами глаз, и один довольно сохранившийся скелет.

С немым ужасом смотрел Александр Васильевич на эту мрачную картину смерти.

Все стояли молча.

— Товарищи! — сказал Дикгоф. — Мы первые свободные люди, которые нарушили мертвый покой этой могилы, вырытой тиранами для живых когда-то людей. Стремясь освободить наших товарищей в Бастилии, мы случайно наткнулись на ужасный застенок пятнадцатого века, который вновь возродился в средине двадцатого. Но как мы проникли сюда, так мы проникнем и туда! Это счастливое предзнаменование! Обнажим же головы перед этими черепами, потому что только путем долгих насилий могло созреть в человечестве стремление к освобождению от них, стремление к свободе! Да здравствует же свобода!

Десятки голосов подхватили этот крик, а на черепа и головы живых людей тихо сыпалась земля, потрясенная недавним взрывом.

Дикгоф взял в руки один из черепов, но он рассыпался в его руках.

— Когда-нибудь человек найдет победу и над смертью, — промолвил он, отряхнув от праха свои руки.

В этой же могиле состоялся совет, на котором рассматривали план. Оказалось, что они находятся под самой Бастилией.

Новая подземная тюрьма, игрой судьбы, оказалась над застенком Грозного.

Решено было с помощью аппарата с икс-лучами и новым прибором к нему произвести фотографический снимок, чтобы определить центр тюрьмы и вести подкоп к этому центру, вырывая в земле ступени.

Работа снова закипела с лихорадочной быстротой. Теперь была дорога каждая минута.

XII

Взятие «Бастилии»

«Воронка» быстро приближалась к концу. Выход ее вел к центру тюрьмы, именно в коридор, определенный с помощью аппарата с икс-лучами.

Вскоре несколько аппаратов беспроволочного телефона, взятые с собой, начали передавать неясные звуки, отраженные ими с поверхности земли. Это был какой-то сплошной гул, прерываемый гулкими ударами.

— А ведь это стреляют! — воскликнул Семен Иванович.
— Послушайте-ка!

И он приложил аппарат к уху Александра Васильевича.

— Действительно, кажется, стреляют, — побледнел тот.
— Неужели мы опоздали?

— Значит, революционеры пошли в атаку на тюрьму, — решил Семен Иванович. — Ну, им придется плохо... Их перестреляют, как куропаток. Не бойтесь опоздать, Дикгоф даст нам сигнал, а уж этот человек не опаздывает, — добавил он убежденно.

Действительно, им оставалось только ждать. И десяток че-

ловек в почти готовой воронке были обречены на томительное бездействие.

— Только взорвать верх воронки — и мы в тюрьме! — вслух мечтал Александр Васильевич. — Можно туда пробиться даже с заступами... Ждать теперь, когда мы у конца, это — мучительно, это невыносимо!

— Ворваться туда и погибнуть без пользы? — с легкой иронией возразил ему Семен Иванович. — Поверьте, что половина успеха зависит от рассчитанности действий и организации. Если бы у нас не было организации, нашу партию давно бы передушили, как перепелов в сетке. А теперь мы вскоре будем господами положения!

В томительном бездействии прошло несколько часов.

Александр Васильевич почти не выпускал из рук телефонного аппарата, и чуткое ухо, в связи с нервно настроенным и возбужденным ожиданием воображением, ловило в нем создаваемые этим воображением звуки.

Ему чудился голос Ани, ее призывный, молящий о спасении крик, и тогда он вздрогивал, как раненый, и готов был броситься один разбивать ломом эту темную глину, этот молчаливый пласт земли, последнюю грань между ними.

И вдруг в аппарате раздался человеческий голос, ясный и отчетливый, заставивший Александра Васильевича вздрогнуть от неожиданности.

— В Москве восстание! — сказал голос, слишком хорошо знакомый теперь Александру Васильевичу — голос Дикгофа. — Слежу за боем с «Анархии». Революционеры засели в зданиях вокруг тюрьмы и ведут перестрелку с войсками и стражей. Приступа нужно ждать не ранее ночи. Будьте готовы!

Семен Иванович по лицу Александра Васильевича догадался, что говорит Дикгоф.

— Он?

Александр Васильевич кивнул головой и передал трубку Семену Ивановичу.

— Хорошо. Да, да... Будем ждать! Все готово, — заговорил тот, веселыми глазами поглядывая на Александра Васильевича.

Действительно, в то время, как засевшая под землей кучка людей готовилась к решительным действиям, в Москве уже лилась рекой кровь, и в различных пунктах происходили настоящие сражения.

Восстание вспыхнуло неожиданно даже для самих социал-революционеров. Началось с того, что кучка горячей молодежи овладела на Арбатской площади полицейским блиндажом и засела в нем, отстреливаясь от бросившегося в атаку на блиндаж военного патруля.

На помощь патрулю бегом прибыла военная часть, но ее встретила боевая дружина, и на Арбатской площади произошло первое кровопролитие. Дружина была разбита, но вожди революционеров, боясь, что теперь рухнет весь план, немедленно подняли клич к вооруженному восстанию.

По всей Москве появились мгновенно создавшиеся партизанские отряды революционеров, принудившие в борьбе с ними раздробиться войска, а главная боевая дружина окружила район тюрьмы и завязала перестрелку с засевшей в блиндажах и за валами караулом и стражей.

Уже несколько дней продолжалась эта кровавая бойня, и над Москвой, не прекращаясь, даже ночью, висел гул выстрелов вместе с дымом начавшихся пожарищ. Свои шли на своих, убивая друг друга, разрушая имущество и сам город, сама атмосфера борьбы опьяняла их, заставляла забывать все, кроме вспыхнувших звериных инстинктов. Кровь опьяняла людей.

Путь к грядущей свободе готовился по развалинам, политым человеческой кровью.

Точно дикая орда ворвалась в Москву. На улицах, никем не прибранные, валялись трупы. Рядом с мужскими трупами павших с оружием в руках лежали тела женщин и детей, совсем малюток, которых ужас и голод выгнали из погребов и подвалов.

И над обезумевшей Москвой величественно и спокойно царила в воздухе неотразимая, как смерть, «Анархия».

Она не принимала участия в побоище, не становясь на сторону революционеров, как, впрочем, того ожидали и они сами, но другая борющаяся сторона видела в «Анархии»

врага, и эта очевидная опасность отвлекла в сторону часть ее внимания и сил. «Анархия», таким образом, косвенно помогала революционерам.

Первая атака революционеров на крепостные валы, окружавшие тюрьму, была отбита с тяжелым для них уроном; колонна атакующих попала на мину и почти вся была взорвана на воздух. Погибли более ста человек. Трупы людей, оторванные руки, ноги и головы разбросало на далекое расстояние, на месте взрыва образовалась глубокая воронка, черная от запекшейся крови, и три дома вблизи взрыва были разрушены до основания.

Наступила тяжелая, кровавая ночь, освещаемая, как зарницами, молниями выстрелов. В воздухе висел тяжелый запах гари, газов, образовавшихся от взрывов и человеческой крови.

В это время на «Анархии», сливавшейся с черным небом, вдруг вспыхнул электрический прожектор и огненным глазом уставился на тюрьму.

Тревожные крики раздались за валами, и вдруг новый страшный взрыв потряс все окружающее и взметнул на воздух гору земли и камней.

С криками революционеры бросились на новый приступ — но их уже не встречали из-за валов губительным огнем. В паническом ужасе гарнизон тюремной крепости бежал вместе со стражей, бросая оружие; революционеры взяли «Бастилию».

Но вместо страшной подземной тюрьмы их встретил только холм развороченной земли, перемешанной с грудами камня, кирпича и железа.

Тюрьма была взорвана. Ворвавшаяся дружина оказалась обладательницей только бывшего плацдарма. Блуждающий луч прожектора «Анархии» пробежал несколько раз по беспорядочным кучкам боевой дружины, недоумевающим людям, не достигшим главной цели, словно желая убедиться, как они торжествуют победу, и погас. «Анархия» скрылась во мраке.

На развалинах тюрьмы победители держали военный совет.

— Мы взяли «Бастилию», — говорил один из предводителей дружины, — но наша победа омрачена гибелью всех заключенных. Очевидно, тюремщики взорвали тюрьму вместе с заключенными, не видя возможности защищаться.

— Но участие «Анархии» здесь несомненно, — перебил его другой. — Иначе я не понимаю, зачем она все время держалась над тюрьмой. И этот прожектор, вспыхнувший всего на несколько минут. Но неужели «Анархия» могла взорвать тюрьму?

— Нет! нет! Этого не может быть! — раздались протестующие голоса.

— Вернее всего, что тюрьму взорвала стража, опасаясь действий «Анархии».

— Анархисты не пожертвовали бы заключенными.

— А вспомните, что они говорили на общем митинге?

— «Анархия» не сделала даже попытки помочь нам, когда у нас взорвали на воздух целую колонну!

— Изменники!

— Смерть анархистам! — крикнул кто-то возбужденным голосом, но этот голос потонул в общем гуле.

Толпа людей, опьяниенная еще только что окончившимся штурмом, минувшей смертельной опасностью, кровью и смертью, поднявшая оружие за свободу, готова была теперь употребить то же оружие против другой группы людей, лозунгом которых была тоже свобода.

В некоторых местах еще шла борьба с отдельными кучками бывшего гарнизона. Но их большей частью легко обезоруживали и отпускали на все четыре стороны. Не сдался только один жандармский офицер; бросив бешеное ругательство по адресу окруживших его революционеров, он застрелился из собственного револьвера.

Один только человек молчаливо и одиноко стоял на развалинах бывшей тюрьмы. Это был Пронский.

Он был уверен в том, что все заключенные погибли, и смотрел на взрытый бугор, поднятый из земли точно вулканическими силами, как на могилу сотен людей, среди которых должна была быть и Аня.

Ему невольно вспомнился образ бледной девушки с золотистыми волосами и рядом с ней измученное, нервное лицо ее друга, о котором он не знал ровно ничего.

«Кончилась эта трагедия любви, — думал он, — кончилась тогда, когда началась трагедия мировая». К лучшему или к худшему для тех, кто умер, он сам не мог сказать; но он чувствовал, что вступил уже в ту полосу, в которой цена отдельной человеческой жизни, даже его собственной, тонула, как песчинка, в грандиозной борьбе и ужасе надвинувшихся событий.

XIII

Освобожденная

Бой у «Бастилии» был в полном разгаре, когда Семен Иванович получил приказ по телефону произвести взрыв. Заряд, вполне достаточный для того, чтобы произвести прорыв в тюрьму, был уже заложен, и участники нападения с электрическими пистолетами в руках собирались на защищенной от взрыва, специально устроенной площадке.

— Готово, — сказал Семен Иванович, нажав кнопку.

Раздался пронзительный и короткий визг, мимо стоявших на площадке людей метнулись камни и сильная струя воздуха сбила некоторых с ног. Но упавшие тотчас же поднялись и с громким криком ринулись в образовавшееся отверстие.

Разорвав платье и ссадив до крови руку об острый обломок камня, Александр Васильевич одним из первых очутился в коридоре тюрьмы. Следом за ним один за другим карабкались анархисты.

Внутренний караул, оглушенный и испуганный неожиданным взрывом, не препятствовал собраться в коридоре неожиданно появившемуся из-под земли неприятелю, и анархисты успели занять все выходы и перестрелять перепуганных солдат, не думавших о сопротивлении.

Они исполняли приказ Дикгофа, который не велел щадить никого.

Пока шла эта стрельба в обезумевших людей, вскоре покрывших своими трупами холодные плиты коридора, в запертых камерах раздавались крики, какой-то нечеловеческий вой и страшный стук в двери.

Вся тюрьма стонала, кричала и стучала.

Заключенные инстинктивно чувствовали освобождение; в криках, шуме и выстрелах за дверьми своих подземных могил они слышали гимн грядущей свободе и выражали свое нетерпение и сочувствие неожиданному и неизвестному избавителю.

Кто бы он ни был, он не мог быть им врагом.

Загремели железные засовы, широко стали распахиваться тяжелые двери, один за другим появились из казематов недавние узники. Среди них были молодые люди, но с седыми волосами, постаревшие в ужасной тюрьме в несколько дней на несколько десятков лет, были бодрые и были искалеченные пытками, болезнями и страданиями. Некоторые из них не могли ходить и выползали из своих нор, но лица всех, и здоровых и больных, молодых и старых, мужчин и женщин, выражали радость...

Здоровые бросались в объятия явившимся спасителям, среди которых многие встречали родных и знакомых, калеки махали руками, кричали приветствие и вскоре грянул гимн свободе и «Анархии», который пели нестройные, но полные радостного возбуждения голоса.

Этот гимн нарушали крики и рыдания сумасшедших — их было несколько человек, потерявших рассудок в этих подземных могилах, и они убегали от своих спасителей, бросались на них с проклятиями, грызли руки, пытавшиеся их схватить, чтобы увести из коридора в подземный проход.

Как сумасшедший, метался по коридору и Александр Васильевич. В толпе этих «воскресших мертвцев» с радостно-безумными глазами он не видел Ани.

Страшное предчувствие сверлило ему мозг.

«Ее убили, она умерла!» — в отчаянии думал он, и с его пересохших губ в безумном крике срывалось ее имя.

Вдруг из полуотворенной двери камеры, на которой чернела цифра «17», на него глянуло и знакомое и вместе незнакомое лицо с безумными глазами, прозрачное лицо живого мертвеца, окруженное копной сбившихся золотистых волос, которые спутанными космами падали на плечи.

Александра Васильевича словно ударило в грудь. Он узнал ее. Но это был призрак Ани, и в ее безумных глазах отразилась не радость, а смертельный испуг. Она не узнала его.

— Аня! — в отчаянии воскликнул он.

— Не подходи, палач! — воскликнула она, протянув руки, как бы собираясь оттолкнуть его и вся дрожа от охватившего ее испуга. — Я тебя знаю! Я тебя знаю! — повторяла она, пятясь от него вглубь своей камеры. — Убийца! — крикнула она пронзительно.

Александр Васильевич стоял, как окаменелый. Последняя мысль у него была, что «это хуже смерти», и его охватил какой-то странный обморок, в котором он мог стоять, видеть, но ничего не понимал из окружающего.

А на него смотрело безумными испуганными глазами животного лица Ани, все удалявшейся в сумрак камеры.

Она уже не кричала, а ворчала как-то глухо:

— Палач! Палач!

Бессознательно Александр Васильевич вытащил пистолет, которым его снабдил Семен Иванович, и приложил его к виску. Без мысли, без чувства страха.

Он инстинктивно чувствовал, что должен умереть, и самоубийство явилось для него теперь простым, естественным концом.

Но в эту минуту сильная рука вырвала у него оружие.

— Безумец! — воскликнул Семен Иванович. — Что вы затеяли! Дорога каждая минута! Нужно уходить и взорвать тюрьму. Малодушие — теперь лишать себя жизни! Товарищи! помогите взять ее! — крикнул он, бросаясь в камеру Ани, куда за ним вбежали еще двое.

Александр Васильевич видел, как Аня взмахнула руками, услышал ее дикий, безумный крик и ринулся к ней, но его схватили под руки двое подбежавших анархистов и повлекли к тоннелю, в отверстие которого прыгали радостные,

возбужденные удачей люди и куда здоровые уносили калек.

Аня билась в руках двух несших ее дюжих рабочих и кричала какими-то тягучими однообразными звуками, похожими на стон или мычание животного.

Но ее несли бережно и на глазах Александра Васильевича опустили в подземелье.

И когда они были уже далеко под землей, до них глухим отголоском донесся звук страшного взрыва.

Это была взорвана «Бастилия».

Бывшие узники провели целый день на фабрике, укрываясь в строениях, но потом поодиночке стали уходить в коммуны и по домам, сбросив свои арестантские халаты; увели и больных. Фабрика пустела, но Александр Васильевич не знал, что ему делать, куда идти с больной женой, которая упорно не узнавала его, хотя иногда бредила его именем.

Он поселился с ней в той же маленькой полуразрушенной комнатке, в которой жил перед началом подкопа. Странная апатия овладела им. Несчастье сломило его энергию и, если бы не Семен Иванович, принявший искреннее участие в его горе, он мог бы второй раз посягнуть на самоубийство.

Аню приходилось сторожить, не спуская с нее глаз. Она все порывалась бежать куда-то и, в довершение всего, от дневного света заболела глазами. В комнате пришлось засечь окна. Мужа она по-прежнему не узнавала, почти не спала и все время находилась в тревожном состоянии и беспокойстве.

Александру Васильевичу стало казаться, что и сам он сошел с ума. В те редкие часы, когда она засыпала и опущенные веки закрывали ее страшные безумные глаза, молча сидел он над нею и смотрел на ее исхудавшее и постаревшее лицо, на волосы, в которых серебряными нитями стала проглядывать седина, и с тупым отчаянием старался воссоздать из этого лица прежний облик Ани.

В Москве гудела стрельба. Там происходило что-то грандиозное, но Александр Васильевич оставался глух и слеп ко всему, что не касалось его несчастной жены. Пусть там революция, пусть там восстание, пусть из кровавого тумана в

белоснежных одеждах мира выйдет свобода — что ему было теперь до этого мира, до всего человечества?

Его мир заключался теперь в маленькой комнате с зашторенными окнами, где он охранял живой труп прежней Ани.

Семен Иванович сказал ему, что вскоре придется покинуть это убежище, но Александр Васильевич посмотрел на него с вялым равнодушием.

Он не знал, куда он денется со своей больной, но это было ему безразлично. Прежняя жизнь не могла вернуться, и Александру Васильевичу начинал грезиться один лучший конец — смерть вместе с женой... Он старался отогнать эту мысль, победить ее, но она разгоралась все сильнее и сильнее.

— Есть у вас какое-нибудь надежное место? — спросил его Семен Иванович.

— Не знаю! — ответил Александр Васильевич.

— Но вы говорили, что у вас есть какое-то именьице, усадьба... Вот бы туда вам и поехать.

— Разве можно теперь знать, что у кого есть! Да и как я повезу туда больную? Пока мы выберемся из Москвы, нас двадцать раз могут арестовать...

Семен Иванович задумался.

— Да, время тревожное, — сказал он, помолчав, — но нельзя сказать, чтобы было очень плохо. Революционеры подготовляют победу для нас. Скоро они овладеют Москвой, и тогда мы заставим их превратиться в анархистов.

Но тусклые глаза Александра Васильевича красноречивее всякого ответа говорили ему, что для его собеседника теперь все равно, чего бы ни добились на земле люди.

— Тронулся малый, — решил Семен Иванович. — Придется повозиться с ними обоими.

Он был очень озабочен. Фабрику, где оставался небольшой караул, необходимо было бросать, готовилось активное выступление всех анархистов, и Семен Иванович ломал голову, куда поместить Александра Васильевича и его жену.

— Черт побери, это труднее, чем провести подкоп! Пусть устроит это Дикгоф, — решил он наконец и успокоился на этом решении.

XIV

Зарницы

Как и несколько недель тому назад, на дворе фабрики опять стояла «Анархия», похожая на задремавшего дракона со сложенными крыльями. Дикгоф, серьезный и мрачный, большими шагами ходил взад и вперед вместе с Семеном Ивановичем. Они говорили о чем-то, и по разговору было слышно, что Дикгоф волновался и горячился, чего с ним почти никогда не случалось.

Была теплая, весенняя ночь. Пахло молодой, свежей листвой.

Аня спала, и Александр Васильевич, оставив больную, вышел подышать свежим воздухом. Он присел на скамью возле каменной фабричной стены, и равнодушно смотрел, как быстро двигались взад и вперед темные фигуры Дикгофа и его спутника.

«Говорят о свободе», — подумал он; и эта мысль о свободе поразила его холодной, беспощадной иронией.

Для него теперь это слово представляло пустой бессодержательный звук. Что значила теперь для него свобода, когда за стеной лежала его искалеченная, превратившаяся в идиотку жена, когда в себе он чувствовал только тупое равнодушие к жизни и бесконечную усталость?

«Свобода», — еще раз подумал он и взглянул в сторону города, откуда привык слышать грохот стрельбы. Там борются за нее, там льется кровь, и все это — добыча смерти.

Но в городе было тихо, и эта странная тишина удивила Александра Васильевича.

Дикгоф в это время взошел на «Анархию», и к Александру Васильевичу подошел Семен Иванович.

Почтенный техник казался смущенным и взволнованным.

— А мы говорили о вас, — сказал он, стараясь овладеть своим волнением. — Дикгоф предлагает доставить и вас и вашу жену на своем корабле в вашу деревню или хутор. А

то можете оставаться и в Москве: она теперь во власти революционеров, и сегодня в Кремль торжественно въехал временный президент или диктатор. Теперь в России два диктатора: один — правительственный, а другой революционный. То есть, теперь для Москвы последний-то и есть правительственный. Скверно то, что от нас некоторые ушли к революционерам.

— Мне все равно, — ответил безразлично Александр Васильевич. — В деревню так в деревню.

— И правильно, — похвалил его Семен Иванович. — Здесь ненадежное и недолгое спокойствие. Поднимаются социал-демократы, не будет дремать и правительство. В этой борьбе партий не скоро, кажется, удастся завоевать настоящую свободу. И как раз у нас начался раскол. В нашей партии...

— Раскол?! — удивился Александр Васильевич.

— Да, да! Это не приведет к хорошему концу! Меня поразил сегодня, вот сейчас, сам Дикгоф. Он сошел с ума! Это несчастье, это ужасное несчастье!

— Дикгоф сошел с ума?! — переспросил Александр Васильевич.

Как ни относился он апатично ко всему окружающему, но это известие его поразило.

Семен Иванович присел рядом с ним на скамью и продолжал, уже не скрывая своего волнения:

— Сошел с ума, — повторил он, — и с ним помешался весь экипаж его воздушного корабля. Он хочет ни более, ни менее, как объявить себя императором мира!

— Анархист — императором мира?

— Дело не в слове, не в названии, а в факте. Он хочет быть главой анархистов, несменяемым главой, и это ему, может, удастся, благодаря его «Анархии». А так как анархистам должен принадлежать весь мир, то... вы сами понимаете, что такой «глава» будет сильнее и могущественнее всякого императора.

— Но как же он объясняет такое несоответствие со своими прежними взглядами и убеждениями?

Семен Иванович махнул рукой:

— Он сваливает все на борьбу партий, на раскол среди анархистов. Он пришел к тому убеждению, что только твердая единоличная власть, распространяющаяся на весь мир, может обеспечить людям полную свободу.

— От анархии, от отрицания власти перейти к неограниченному самодержавию, к абсолютизму! — поражался все более и более Александр Васильевич. — Я отказываюсь понять это. Это действительно сумасшествие или это оборот колеса жизни, где одна точка, поднявшись до крайнего предела, вдруг опустилась вниз?

— Сумасшествие! — резко решил Семен Иванович. — Я так прямо сказал и ему. Пока наши идеалы и убеждения сходились, я подчинялся ему во всем, потому что он умнее меня. Но раз он захотел взять в свои руки власть, я ему не товарищ. Я убежденный анархист и умру им. Я не верю в Бога, но, если бы Бог сошел на землю и взял в свои руки земную власть, я пошел бы и против него. Он дунул бы на меня, и я бы погиб, но он не мог бы заставить не протестовать. Так я сказал и Дикгофу. Если он не откажется до завтра от своих слов, я буду его врагом и начну собирать против него товарищей.

— И опять война... Кровь... — задумчиво произнес Александр Васильевич.

— Так что же делать-то? Что делать? — почти с отчаянием вырвалось у Семена Ивановича. — Поняв, ощущив, так сказать, идеал свободы, отказаться от него?

— Я не знаю, — тихо ответил Александр Васильевич. — Я ничего не понимаю. И мне кажется, что и никто не понял самого главного. Прежде всего, нужно изгнать с земли страдание. Тогда люди поймут настоящую свободу.

— А вдруг и тогда явится это колесо, о котором вы говорили? — недоверчиво возразил Семен Иванович. — Нет, выше идеала анархии люди не придумают ничего. Ах, если бы вы знали... Дикгоф пополам разорвал мое сердце!

Темная фигура спустилась в это время с «Анархии» и подошла к ним. Это был Дикгоф.

Он поздоровался с Александром Васильевичем.

— Как вы решили? — спросил он. — Семен Иванович, вероятно, передал вам мое предложение.

— Передал, — коротко ответил тот.

— В какой-нибудь час вы будете в деревне, в полном спокойствии, которое необходимо для больной, — продолжал Дикгоф. — В Москве, вероятно, опять скоро начнутся тревожные события...

— Благодарю вас, — ответил Александр Васильевич. Конечно, мне лучше всего принять ваше предложение, хотя я положительно не знаю, какую пользу принесет ей деревня.

— Тогда готовьтесь... И пойдемте взглянуть на больную. Я еще не видел ее.

Александр Васильевич неохотно пошел рядом с Дикгофом. Он видел в нем одну из главных причин несчастья своего и Ани, но не мог отказать этому человеку. Не мог, даже если бы хотел.

Они вдвоем вошли в комнату, где спала Аня.

Она лежала на грубо сколоченной постели, вздрогнула, когда Дикгоф неосторожно хлопнул дверью, приподнялась и задрожала, как лихорадочно больная, устремив на вошедших свои огромные глаза.

— Палач! Палач! — пробормотала она и вдруг смолкла, встретившись взглядами с Дикгофом.

— Кто это? Кто? — вскрикнула она опять.

Она хотела спрыгнуть с постели, но Дикгоф удержал ее за руку, отстранив в то же время бросившегося к Ане Александра Васильевича.

— Подождите! — властно проговорил он. — Я попробую действовать на нее гипнозом.

Этот властный голос и действие, какое оноказал на Анию, остановили Александра Васильевича. В нем мелькнула какая-то несбыточная, сумасшедшая надежда.

Аня присмирела и сидела неподвижно, не отрывая своего взгляда от устремленных на нее глаз Дикгофа, и судороги на ее лице выдавали мучительную работу ее больной мысли.

Так прошло несколько долгих минут. Целая вечность для Александра Васильевича.

— Ты будешь исполнять все то, что я тебе прикажу! — медленно произнес Дикгоф. — Слышишь ты меня?

— Слышу, — совершенно разумно ответила Аня.

Дикгоф снял с руки кольцо с огромным опалом и приблизил его к глазам Ани.

— И ты будешь слушаться того, у кого в руках этот камень. Слышишь?

— Слышу! — тем же тоном ответила Аня.

— А теперь спи! Я тебе приказываю спать!

И больная тотчас откинулась на подушку и закрыла глаза.

Александр Васильевич был поражен. Тень несбыточной надежды, промелькнувшей в нем, явилась опять, но уже светлая, почти воплотившаяся в уверенность.

— Но ведь так ее можно вылечить! — воскликнул он.

— Я не совсем уверен был в опыте, но для того и произвел его перед вами, чтобы вы могли вывести это заключение, — сказал Дикгоф. — Так ее можно вылечить, только опыты нужно производить постепенно, все увеличивая время гипноза. Возьмите это кольцо. Оно даст вам власть над больной.

С глубоким волнением взял Александр Васильевич этот маленький предмет, в котором для него заключалось теперь все, и крепко пожал руку Дикгофа.

Слов не было, да слова были бы теперь ненужными.

— Мы прикажем перенести ее сонной на «Анархию», — сказал Дикгоф, — и вы разбудите ее сами уже у себя дома. Пойдемте же!

Они вышли на двор и прошли мимо поднявшегося со скамьи и последовавшего за ними Семена Ивановича.

Дикгоф не сказал ему ни слова.

Александр Васильевич заметил, что между вождем и одним из его первых помощников пробежала черная кошка.

Трап был спущен. Александр Васильевич и Дикгоф вошли по нему на палубу, где их встретили незнакомые Александрю Васильевичу люди.

Отдав приказание принести сонную Аню, Дикгоф нагнулся через перила к стоявшему на земле Семену Ивановичу.

— Итак, вы не поняли меня, — сказал он.

— Я остаюсь при прежних убеждениях, — глухо ответил с земли Семен Иванович, — и жду этого и от вас.

— Мои убеждения все те же, способ исполнения другой.

— Я против этого способа.

— Значит, и против меня?

— Да!

Это короткое слово убежденного анархиста прозвучало решительно и гордо.

— Значит, мы с вами... — начал было Дикгоф.

— Враги! — смело бросили ему снизу.

— Чем больше врагов, тем их будет меньше впоследствии, — проговорил Дикгоф. — Но я не считаю вас врагом!

Ответа не последовало.

Принесли непроснувшуюся Аню и осторожно спустили ее вниз, в каюту.

— К полету! — скомандовал Дикгоф.

— Прощайте, Семен Иванович! — крикнул Александр Васильевич и схватился за перила. Воздух засвистал у него в ушах, и фабрика с ее двором сразу точно провалилась вниз, и перед Александром Васильевичем развернулась туманная панорама Москвы.

— Да здравствует незыблемая анархия! — крикнул внизу одиночный голос.

— Честный, но упрямый человек, — задумчиво произнес Дикгоф. — Он, наверное, передал вам нашу беседу?

— Да, — ответил Александр Васильевич.

— Мое решение неизменно, — продолжал Дикгоф. — Пока среди людей будет борьба партий, до тех пор не будет свободы. Я возьму в свои руки власть для блага всего мира, для объединения людей и для их свободы. Великая французская революция родила Наполеона, и в его мыслях смутно рождался тот же план, что и у меня. Россия была могилой для Наполеона, для меня она будет колыбелью. Однако, пойдемте вниз: сейчас дадут полный ход — и нас снесет ветром.

Но Александр Васильевич не мог оторваться от чудной картины, открывшейся перед ним. В нем поднималось ра-

достно-горделивое чувство человека, победившего воздушную стихию, и быстрый полет его в ней казался ему каким-то волшебным путем к сказочному, недостижимому счастью и свободе.

XV

Разгром

Лето близилось к концу. Это было страшное лето. Вся Россия, вся Европа были в огне. Мирная жизнь замерла. Старая Европа сотрясалась в кровавых попытках сбросить ярмо вековых устоев и прорваться в новую жизнь. Но чем более говорили о свободе, чем более желали ее, тем она, точно назло, становилась все отдаленее и отдаленее. Отуманные люди в своих поисках свободы, в своих стремлениях к ней натыкались только на горы трупов и потоки крови. И кровь ослепляла их, опьяняла их мысли.

Казалось, что светлый дух разума отлетел от мятущейся земли.

Москва переживала вторую революцию: анархисты победили социал-революционеров, и главой их по-прежнему остался Дикгоф. Его имя гремело.

Это имя произносили и со страхом, и с уважением, и с негодованием. Целые области, целые города он подчинял себе одним словом. В руках правительства оставалась только северная часть России и область, примыкавшая к Петербургу. Эту область охранял воздушный флот аэропланов, не осмеливающийся, однако, дать бой «Анархии».

В свой очередь, и Дикгоф медлил дать этот последний решительный бой. Он занят был устройством сети новых коммун и борьбой с внутренними препятствиями, на которые ему приходилось наталкиваться на каждом шагу.

Анархисты глухо роптали на притязательные стремления своего вождя, составлялись заговоры на его жизнь, но Дикгоф сурово карал этих противников своей воли.

Их ждала неминуемая смерть.
Смерть без пощады.

Серая масса крестьянства также стала открыто против Дикгофа. Крестьяне хотели земли и воли и на дело анархистов смотрели, как на сумасшествие горожан, до которых у них самих не было дела.

По всей России крестьянские общины образовали отдельные крестьянские партизанские отряды, завладели землями помещиков и подготовились открыто защищать завоеванные права.

Грозная крестьянская война, уже местами начавшаяся, одинаково была опасна как правительству, так и анархистам.

И Дикгоф медлил принимать какие-нибудь меры перед этим новым и последним препятствием.

Напрасны были его манифесты к крестьянам, объясняющие им систему анархизма. Эти объяснения только разительнее подчеркивали, по сравнению с анархией, ту роль, которую он взял на себя. И крестьяне не верили ему, что собственности не должно быть.

Громада крестьянской оппозиции росла против Дикгофа.

Александр Васильевич с больной Аней жил в деревне. Его земля была разделена между крестьянами, которые выделили ему равную со всеми часть. Он сам пахал, сам косил, сам жал, мало-помалу превращаясь в настоящего землепашца. Физический труд помогал ему сохранять до известной степени бодрость духа, которая так была ему нужна.

Он с Аней жил в маленьком домике в усадьбе, где прежде была людская, и который он наскоро переделал. Сюда была перенесена часть мебели из большого дома и фамильные портреты.

Большой барский дом был превращен в общественный. Здесь собирались сельчане, здесь была библиотека и помещалась маленькая типография газеты, которую издавал староста Кузьма Егорович.

Одним словом, барский дом превратился в крестьянский клуб.

К этому же дому собирался отряд волонтеров, на обязанности которого было защищать владения от неприятеля, с какой бы стороны он ни появился; но эти сборы, по счастью, все время были бескровными, так как неприятель не показывался.

— Но вы увидите, как встретят его крестьяне, если он покажется у нас, — говорил Александру Васильевичу Кузьма Егорович. — К нам на помощь придут отряды из соседних уездов, и Дикгофу нас не удастся сломить. Ему нужно будет положить десятки тысяч жизней, чтобы мы признали его власть. Крестьяне сильны духом земли, и не Дикгофу бороться с этим духом.

Аня почти безвыходно сидела в маленьком домике на попечении старой стряпухи, которая не захотела оставить бывшего барина и теперь сделалась как бы членом его семьи.

Бурные припадки оставили Аню; она была теперь тиха и молчалива, превратившись как бы в живой манекен. Употребляя чудодейственное средство Дикгофа, Александр Васильевич почти все время держал ее под гипнозом. Она толково и разумно отвечала на его вопросы, но по-прежнему не узнавала его, называя его Дикгофом.

Это имя больно отзывалось в сердце Александра Васильевича.

Аня поправилась и пополнела, к ней вернулся ее нежный цвет лица, и только одни глаза оставались по-прежнему мутными и безжизненными.

«Она не поправится никогда», — с тоской думал Александр Васильевич.

Но эту тоску, эту боль смягчало теперь вновь неизведенное еще им чувство.

Аня была беременна. Он готовился быть отцом. Появление нового, таинственного пока живого существа наполнило его какой-то боязливой радостью, новым счастьем и страхом.

Ему почему-то казалось, что непременно родится девочка, похожая на Аню, и она составит счастье его жизни.

От появления этого ребенка он ждал чуда. Ему вери-

лось, он надеялся, что под влиянием материнского инстинкта, нового пробудившегося чувства, к Ане вернется рассудок.

И в такие минуты ему начинало казаться, что она уже не безумная, что в ее молчаливом спокойствии кроется какое-то таинственное священное действие, — рождения новой жизни.

Так шли дни. Дни покоя, работы и страстного ожидания. Буря, бушующая вокруг, доносилась сюда смутными отголосками и не нарушала пока общего покоя. «Дух земли» благотворно действовал и на Александра Васильевича.

Однажды Кузьма Егорович сообщил ему неожиданную новость.

— Одного врага уже нет, — сказал он радостным тоном.
— «Анархия» взорвана и Дикгоф погиб при взрыве!

Александр Васильевич был ошеломлен.

— Победа правительства? — спросил он.

— Нет! Но это на руку правительству. Теперь оно спрямится с горожанами. «Анархию» взорвал анархист из оппозиции к Дикгофу. Какой-то техник. И сам погиб при взрыве вместе с экипажем корабля и Дикгофом. Он подвел подкоп под то место, на которое постоянно становилась «Анархия», и взорвал страшную мину. Тайна Дикгофа погибла вместе с ним!

«Семен Иванович!» — мелькнула мысль в голове Александра Васильевича.

— Теперь это нарушит то равновесие, в котором находились обе стороны, — продолжал Кузьма Егорович, — и правительство, благодаря воздушному флоту, возьмет перевес.

— Но этот перевес грозит и нам! — воскликнул Александр Васильевич.

Он уже убежденно считал себя теперь крестьянином.

— Не думаю. Все утомлены борьбой. Ведь тогда придется выдержать целую крестьянскую войну. Правительство должно пойти на уступки. Не будем смотреть на будущее мрачно, но и не позволим взять себя врасплох. Ведь вот, вы были против земельного раздела, а теперь, — крестьянин по

убеждению.

Прошло несколько дней, и пришла новая весть: воздушный флот правительства взял Москву. Она представляла из себя кучи развалин, и более чем из миллионного населения в ней осталось не более десяти-пятнадцати тысяч жителей.

Анархисты защищались еще в отдельных городах, но это были последние судороги еще недавно грандиозного движения.

Флот аэропланов крейсировал над всей Россией; начались дни новой тревоги.

Кузьма Егорович беспрерывно сносился с крестьянскими общинами уезда, говорил о депутации от крестьянского союза, отправившейся в Петербург, но теперь все эти жгущие и близкие когда-то Александру Васильевичу вопросы сразу отодвинулись для него на задний план.

Он стал отцом. Аня родила сына. Роды были трудные, хотя доктор, крестьянин соседнего села, оказался очень знающим акушером.

Вся жизнь Александра Васильевича заключалась теперь в стенах маленького домика, в котором бились две дорогие ему жизни.

Он не отходил от Ани и от ребенка, засыпая тут же, на полу, на охапке душистого сена.

Аня со страстной животной нежностью относилась к ребенку, с трудом позволяла брать его из ее рук, тревожилась, когда не видела его подле себя.

И в ее глазах Александр Васильевич видел проблески чего-то нового, нежного и светлого.

«Она выздоровеет! Она выздоровеет!» — с упорной, молчаливой верой думал он.

И она очнулась. Она выздоровела. Ночью, когда он спал, она позвала его, назвав по имени.

— Саша! — услышал он.

Он вскочил, дрожа от волнения, боясь, не ошибся ли он.

Но она лежала спокойно и смотрела на него широко раскрытыми, просветлевшими глазами.

— Саша! — назвала она еще раз.

— Аня! Ты... ты.

Не было слов для чувства, охватившего его. Не могло быть этих слов на языке человеческом.

— Саша, — сказала она опять. — Я вспомнила все. Кажется, я умираю.

— Нет, нет! Ты не умрешь. Ты не должна умереть! Я вырвал тебя от смерти и не отда姆 ей... никогда!

— Дай мне руку! — тихо прошептала она. — Вот так, как прежде. Люби его, — показала она глазами на спеленатого ребенка.

— Аня!

— Он не твой сын, но пусть он будет твоим сыном. — Голос ее оборвался, и она вздохнула тяжело и глубоко. — Там... в тюрьме... насилию... сколько мучений...

Она замолкла, и только ее тонкие пальцы трепетали в его руке.

Разом просветлело в душе Александра Васильевича; он понял, какую тяжесть снимал с Ани и, не колеблясь, ответил:

— Аня, он — мой сын! Я люблю его так же, как и тебя.

— Если я умру, воспитай из него мстителя, — тихо прошептала она.

— Аня! Мы вместе воспитаем из него человека с непоколебимой верой, — ответил он.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ О РОМАНЕ

В тот же год, что и «Земная ось», появилась книга Ив. Морского «Анархисты будущего (Москва через двадцать лет)». Обратите внимание на то, как резко уменьшились сроки! До отдельного издания роман печатался в кадетской газете «Утро» под названием «В тумане будущего». Но будущее автора не особенно волнует, он врезается своей книгой-фельетоном в кипение политических страстей, оперируя современными ему именами и понятиями.

Итак, Москва 1927 года, очень напоминающая Москву 1907 года.

Десятая Государственная дума, возглавляемая, разумеется, кадетами, масса политических партий, направлений. Среди них, например, демонисты, которые стремятся очистить мир с помощью зла, действуя под девизом «Чем хуже, тем лучше». Но существуют и социал-демократы, один из их лидеров — Максим Горький, «о котором уже забыли, как о писателе».

Впрочем, есть на Земле и такое место, где победил социализм.

«На одном из островов Атлантического океана два года тому назад была торжественно открыта социал-демократическая республика... Называлась республика Карлосией, в честь Карла Маркса, и президентом ее был негр Джон Бич, большой приятель Максима Горького».

Читать подобные выпады сейчас смешно и поучительно. Из этого видно, как наши идеиные враги, чувствуя силу социалистических идей, предпринимали всяческие попытки ограничить, принизить их. Видимо, автор и в самом деле мечтал загнать социализм на атлантический островок.

Впрочем, главный удар в книге направлен не против социал-демократов, а против анархистов, чьи экстремистские действия приводят к хаосу и разрухе. Подсказывается вывод: если в России не будет твердой власти (кадеты предлагаются в качестве подходящего варианта), ее ждут жуткие потрясения.

(В. Ревич. Не быть, но и не выдумка: Заметки о русской до-революционной фантастике. М., 1979).

Выйдя за пределы литературно-мифологического пространства, распространившись во все сферы жизни, левый радикализм проявлял себя на улице, в студенческой аудитории, в школе. Ребенок, стреляющий в директора гимназии, выглядел пародией на Героя Подпольной России. Этот Герой потерял монополию на террор, и, став общим достоянием, террор окрасился настоящей кровью, превратился в «красный» и «белый», лишился безусловной моральной санкции общества. Гармония бесконфликтного литературного подполья уступала место хаосу. Ощущение разлитого в воздухе насилия, господства анархии, в которую выродилась Подпольная Россия, получило выражение в текстах периода заката революции. «Собственно путь насилий, репрессий пройден почти до конца, осталось сделать несколько роковых шагов, дальше уже бездна, всеобщая анархия, разрушение всего, что создано предыдущей историей» (апрель 1907 г.)¹.

На излете революции в печати появилась утопия «Анархисты будущего», события которой происходят в Москве 1927 года — в Москве эпохи «анархической революции». Анархисты, проповедующие массовый террор, сменяют демократов и социалистов всех мастей. Они — их порождение, они утопили Москву в крови, развязали гражданскую войну с деревней и в итоге проиграли по причине раскола в собственных рядах². Утопия открывается сценой в театре, где идет премьера новой пьесы Леонида Андреева «Конец Мира» — предвестницы конца России демократического периода, да и конца России как таковой (она захлебнется в кро-

¹ Литературно-художественный кружок имени Я. П. Полонского за 1905-1906 и 1906-1907 гг. Отчет совета. — СПб.: Изд-во П. П. Сойкина, 1908. — С. 206.

² Утопическая Москва 1927 года, по замыслу автора, должна была прояснить ситуацию в Москве 1907 года, и потому «анархисты» будущего трактовались не только как новая политическая сила, пришедшая на смену прежним массовым социалистическим партиям, но и как террористы времен первой революции. В печати тех лет террористы, в том числе и эсеровские, часто проходили под общей маркой анархистов. Даже сообщение об аресте членов БО партии социалистов-революционеров освещалось как арест «группы боевой организации партии революционеров-анархистов» (Богучарский В. Хроника русской жизни // Образование — 1905. — №4. — С. 44).

ви). Так в годы первой русской революции воспринимали новую пьесу Леонида Андреева «Жизнь Человека»: пьеса, безусловно, имела общественное значение. Успех, который она встретила в широкой публике, по мнению Д. В. Философова, доказывал, «что коренной пессимизм, овладевший душой Андреева, уже проник и в массы». Пьеса уничтожала веру в социализм, лишала борьбу, революцию смысла: «Стоит ли бороться, стоит ли жертвовать своей жизнью, идти на каторгу, на виселицу — когда жизнь человека — сплошное издевательство Серого некто, когда здесь, на земле, — все обман и суета?»³

В утопии «Анархисты будущего» Леонид Андреев прямо назван предвестником эпохи анархии, хаоса, гибели идеалов и надежд. Характерна и последовательность событий: сначала вся Москва, от депутатов Думы до анархистов, собирается в театре на премьере «Конца Мира», а потом трагедия разыгрывается в реальности. Литература больше не предлагала радикальной интеллигенции позитивный идеал Героя — она предсказывала конец героического периода.

(*М. Могильнер. Мифология «подпольного человека»: Радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999*).

Это первое произведение русской «политической фантастики», разрабатывающее гипотезу о приходе к власти реальной революционной партии в обозримом будущем. Действие «Анархистов» происходит в Москве в 1927 году: герои идут в театр на последнюю пьесу Л. Андреева, улицы не изменили своих названий. Однако воцаряется хаос, начинается гражданская война, заключающаяся в обмене бомбовыми ударами с дирижаблей. В этой книге есть тревожное техническое предвидение: подслушивающие аппараты, повсюду спрятанные полицией.

(*Л. Геллер, М. Нике. Утопия в России. СПб., 2003*).

³ Философов Д. В. Разложение материализма // Слова и жизнь: литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.). — СПб.: Изд-во Акционерного общества типографского дела, 1909. — С. 93. Цитируемая статья написана в 1907 году.

Кануло в Лету великое множество книг. Обречены на забвение, в числе прочих, книги с несбывшимися пророчествами.

«Предсказателей вообще расплодилось много. Люди, изверившиеся в хорошем близком будущем, старались приподнять туманную завесу и хоть немного заглянуть вперед. Каждому хотелось узнать: стоит ли ждать, стоит ли жить». — Так написал некий Иван Морской (несомненный псевдоним) в своем фантастическом романе, напечатанном в Москве в 1907 году. Роман назывался «Анархисты будущего (Москва через 20 лет)».

Что же предсказывал автор через двадцать лет, то есть в 1927 году?

Ну, что касается развития техники, он ошибся только в сроках: уже на 1927 год предсказывал в Москве метрополитен, а также нечто вроде телевидения — «особенные приборы с небольшими экранами», на которых можно видеть происходящее на расстоянии.

Но в предсказаниях политических Иван Морской промахнулся невероятно. В его романе воображается, что «на одном из островов Атлантического океана два года назад (то есть в 1925 году) была торжественно открыта социал-демократическая республика... Называлась республика Карлосией, в честь Карла Маркса, и президентом ее был негр Джон Бич, большой приятель Максима Горького». А что же в России? В России, представьте, никакой революции не произошло. В Петербурге заседает Государственная дума десятого созыва. Автор предполагал, что наибольшая опасность грозит России со стороны заговорщиков-анархистов. Вот анархисты построили воздушный корабль, и он начал летать над Москвой, обстреливать ее безнаказанно (изобретения зенитных орудий автор не предвидел). «В Петербурге с величайшим трудом построили управляемый аэроплан», а затем и целый воздушный флот. Смертоносный воздушный корабль анархистов был сбит, «воздушный флот правительства взял Москву. Она представляла из себя кучи развалин». На этом вся заварушка, если ее можно так назвать, кончается. Автор заверяет читателя, что с ликвидацией анархистской угрозы наступит в России мир.

Не предвидел он, что не через двадцать, а уже через десять лет в России произойдет революция.

После революции никто, я уверен, несбывшихся фантазий Ивана Морского не читал. Думаю, что и до революции роман его не привлекал читателей. Не только потому, что плохо написан, но и потому, что не был созвучен общественным настроениям и хорошее будущее обещал не скоро — лишь через двадцать лет, да и то лишь после того, как Москва превратится в кучи развалин. Ра-

зочарованные читатели отшвыривали такую книгу в сторону или даже готовы были изорвать ее в клочки.

Читатель верит только тому, чему готов поверить.

(С. Тхоржевский. *Открыть окно: Воспоминания и попутные записи. СПб., 2002*).

Первая анархистская (анти)утопия была написана близким анархизму писателем Иваном Морским в 1907 г. и называлась она «Анархисты будущего (Москва через 20 лет)». Время романа смещено в будущее и локализуется конкретной датой — 20 ноября 1927 г. — и определенным местом — это «залитая волнами электрического света Москва» (Морской 1907: 3). Примечательно, что изображение мира Москвы, разделенного надвое техникой и людьми, обладает сходством с современными интерактивными топографическими картами, в которых возможно активизировать режим переключений и просмотров и даже получать аудиовизуальные сообщения.

«Расширенная реальность» топографических карт — предвестник медиавласти в позднем утопическом дискурсе.

С сигнала-сообщения «Победа анархистов в Риме...» (Морской 1907: 3), передаваемого мальчишками-газетчиками, начинается завязка действия романа. Этот сигнал отсылает к идее *translatio imperii*, в частности к концепции Филофея «Москва — Третий Рим» и предупреждает о том, что Москва должна стать завершающим воплощением идеального топоса. В проекции на формулировку Филофея «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать», Москва — метафизическое место, не допускающее дальнейших сдвигов в области идеальных представлений. Здесь уместно вспомнить о том, что Джордж Оруэлл в очерке «Литература и тоталитаризм» (1941) на примере тоталитарного государства писал о том, что государственная власть контролирует мышление, но не способна установить его раз и навсегда. Чтобы добиться безусловного послушания и подчинения подданных, государственная власть первоначально устанавливает непрекаемые догмы, однако императивы силовой политики неизменно заставляют вносить корректизы в выдвинутые догмы. Тем самым, провозгласив себя незыблемым, тоталитарное государство в то же самое время отторгает от себя понятие объективной истины как таковой. Таким образом, по Оруэллу, навязанный порядок, сколь бы он ни претендовал на завершенность, не в состоянии противостоять установлению хаоса.

В качестве «третьего Рима» Москва в (анти)утопии Ивана Морского – не только метафизическое место, в котором установленные идеалы становятся доктринальными догмами, вступающими в противоречие с самими собой, но и место эсхатологическое, сигнализирующее об остановке развития идеальных построений. И на самом деле, роман начинается с того, что в одном из московских театров на просмотре пьесы Леонида Андреева «Конец мира» (перефразированное название его же пьесы «Жизнь человека», поскольку именно как предвестницу конца России демократического периода воспринимала интеллигенция эту пьесу Леонида Андреева) (Могильнер 1999: 70-71) собираются представители разных политических кругов, в том числе анархисты, которые затем транспонируют апокалиптический сюжет «Конца мира» со сцены в жизнь. По ходу (анти)утопии Морского в 1927 году анархисты под командованием их главного идеолога Дикгофа предпринимают попытку захватить власть в России. Они строят воздушный корабль «Анархия», обстреливают из него Москву, превращая в руины все ее технические достижения и останавливая работу метрополитена и телевидения: «Воздушный корабль анархистов “Анархия” держал в осаде всю центральную часть европейской России. Говорили про ужасные истребления, которые совершил этот корабль. Бомбы падали с неба на все казенные здания и разрушали их до основания [...] Вагоны метрополитена и трамваев перестали циркулировать [...] Вся Москва была взорвана. Городская управа сооружала на каждой улице блиндажи, в которых могла бы спасаться публика, домовладельцы сооружали блиндажи на своих дворах, повсюду была проведена электрическая сигнализация, извещавшая моментально всю Москву о появлении страшного чудовища» (Морской 1907: 75-76). Все государственные институции были эвакуированы в Финляндию, а финансовые учреждения – в Англию. Отдельные регионы России, в частности Сибирь и Крым, отделились, образовав независимые республики. Новгород и Псков объявили себя «вольными городами». «Вольные города» – прямая цитата из работы Петра Кропоткина «Речи бунтовщика» (1883), в которой классик анархизма постулировал устройство нового общежития по примеру средневековых коммун.

Москва, в которой царил голод, превратилась в пустой город руин: «Развалины встречались на каждой улице. В развалинах была и часть кремлевской стены, обращенная к Александровскому саду» (Морской 1907: 172).

Обороняясь, представители власти создают в свободном от анархистов Петербурге управляемый боевой летательный аппарат «Генерал-адъютант Куропаткин», который некоторое время спустя был взорван во время боя летающей торпедой «Анархии». Следом за этим поражением противниками анархии в достаточно быстрые сроки был сформирован военно-воздушный флот. В конце концов, армии удается сбить воздушный корабль анархистов и восстановить контроль над Москвой и государственностью в целом. Так или иначе, но категориальная специфика жанра фантастической (анти)утопии усиливается именно благодаря сюжету об анархистах. Их действия — отражение вселенского хаоса, анархии, распада языка и отсутствия гармонического образа человечества. Анархия изображается как противостоящий рационалистическому систематизму и допускающий множество парадоксов и противоречий модус бытия, вышедшая из-под контроля тоталитарной завершенности «ситуация». Однако в то же самое время сама тоталитарная завершенность, за сохранение которой, казалось бы, ратуют многие героя романа, на деле оказывается опаснее анархизма. Тюремные надзиратели, т. е. представители власти, совершают насилие над анархистской Аней. Парадокс в том, что она ожидает ребенка, но это «дитя власти» должно стать, согласно ее последней воле, инструментом мести («мстителем») власти имущим.

До выхода отдельного издания роман Ивана Морского печатался на страницах московской газеты «Утро» (выходившей с 1906 г. и прекратившей свое существование в 1911 г.) под заголовком «В тумане будущего». Параллели с этим романом обнаруживаются в антиутопии «Любовь в тумане будущего (История одного романа в 4560 году)», опубликованной в 1924 году Андреем Марсовым. Вполне вероятно, что именно на это произведение Морского ориентировался не только Марсов, но и Замятин при создании антиутопии «Мы».

(О. Буренина-Петрова. Ранняя анархистская (анти)утопия и ее трансформация в современной русской литературе // Актуальные проблемы и перспективы русистики. Барселона, 2018).

В 1907 г. в газете «Утро» был опубликован роман «В тумане будущего», автор которого скрывался под псевдонимом Ив. Морского. В том же году вышла книга с куда менее туманным заглавием — «Анархисты будущего». Действие романа происходит

в ноябре 1927 г., страницы наполнены описанием технических изобретений и драматических столкновений различных общественных сил. Мир охвачен социально-политическими потрясениями: анархисты побеждают в Италии, социалисты терпят крах в Америке. В условиях нестабильности развивается терроризм, в Берлине на А. Бебеля совершено покушение. Появились особые маленькие бомбы, «разрушительное действие их было ужасно, главною составною частью в них был радио и еще одно вновь открытое вещество» [Морской, 4].

Неспокойно и в России, где к этому времени отменена смертная казнь и гарантированы полная свобода совести и свобода слова, а важнейшие новости проецируются на небо с помощью проектора. Черносотенные и монархические организации, когда-то заметные и влиятельные, «весьма слабо проявляют свое существование и неспособны к влиянию на выборах». Описание различных партий и общественных движений автор дает в жанре публицистического очерка с иронической окраской.

Десятая Государственная дума вновь вступила в конфликт с либеральным правительством, стремившимся предотвратить усиление леворадикального фланга. Упоминаемое таинственное «правительство» нигде детально не характеризуется, однако назначает министров и диктатора, что позволяет предположить: в России сохранилась монархия, за двадцатилетие эволюционировавшая в сторону конституционализма. Кабинет министров, находившийся под контролем конституционно-демократической партии, готовился принять решительные меры, в то время как «председатель Думы Аладьин, лидеры партии социалистов дедушка Горький и новой партии социалистов-христиан священник Петров громили кабинет своими речами... Разрыв Думы с правительством был близок, и его боялись потому, что к моменту этого разрыва анархисты решили приурочить свое активное выступление в России. Последователей анархизма считали сотнями тысяч, и они, борясь против власти, сами уже представляли собою силу, т. е. ту же власть. В воздухе висело ожидание новых, неизвестных еще событий. Ждали революции в Германии, где за власть боролись две партии: социалистов и анархистов, шли волнения во Франции, где недавно постоянная армия была в виде опыта заменена милицией, и в Австро-Венгрии, и в Турции, и даже... в Швейцарии. Старая Европа трещала по швам. Близилось время полного общественного переворота, и от него спасались в Америку и Англию те, кто не ждал от этого переворота ничего хорошего» [Морской, 5]. Автор описывает столкновения правительства и

анархистов, во время которых каждая сторона применяла новейшие технические изобретения: карманные телефоны, экраны для наблюдений, электрические револьверы. Со стороны правительства все подвергается тотальной слежке.

Новым премьер-министром назначен «военный министр генерал Риман», который «быстро, по-военному, сформировал новый кабинет и выпустил декларацию, в которой намечались два пункта: быстрота и дисциплина» [Там же, 25, 45].

Консервативно-монархические круги убеждают промышленную буржуазию в необходимости вернуться к старому режиму, но «с некоторыми изменениями». Крайне правые смотрят на начавшуюся смуту «глазами полководца, который долго отступал», «верят в общемировую роль России», которая «призвана спасти Европу от этой гидры», и начинают издавать газету «Просветление», «революционный орган крайне правых», пугающий крестьян грядущей передачей земли евреям. Правительство и «общественные элементы» переходят в активное наступление на анархистов; последние отвечают туманными угрозами: «В наших руках есть могучее средство заставить наших врагов признать себя побежденными» [Там же, 32-34, 46].

С погрома в социал-демократическом лектории «Храм чистого разума», представлявшем собой «своего рода народный университет», начинаются гражданские столкновения [Там же, 53].

В главе «Три веры» автор подробнее рассказывает о доминирующих радикальных течениях, а именно об анархии и социал-демократии, хотя в заглавии говорится о «трех верах» (из текста книги следует, что третья вера — это вера социалистов-революционеров). Анархизм прививался «инстинктивно и, менее научно обоснованный, чем социализм, легче усваивался». Что же до социал-демократов, то «на одном из островов Атлантического океана два года тому назад была торжественно открыта социал-демократическая республика. Называлась республика Карлосией, в честь Карла Маркса, и президентом ее был негр Джон Бич, большой приятель Максима Горького. Денег в республике не было, но ее ярлыки, или боны, которыми за обязательный труд обеспечивались жизненные потребности, ходили по всему свету вместо денег и менялись на деньги всеми банкирскими конторами. Ярлыки изменились рабочими часами и минутами. Всего ниже стоял по курсу русский рубль; за него давали всего пятнадцать рабочих минут» [Там же, 65-67].

Анархисты переходят от слов к делу, и над Москвой появляется воздушный корабль «Анархия», который передвигается при

помощи взмахов крыльями [см.: Морской, 193]. Правительство развертывает по всему городу «электрические мортиры». «Анархий» командует вождь анархистов, блестательный техник и изобретатель корабля Дикгоф — человек «с глазами магнетизера» По его приказу воздушный корабль на месяц уходит в рискованное путешествие в Арктику, чтобы знамя анархии первым поднялось на Северном полюсе: «Я был там — первый из людей. В зените земного шара я водрузил наше знамя, на котором горит надпись: свобода. Увенчанная этим знаменем земля гордо понесется теперь в пространство, навстречу неизвестному» [Там же, 103]. В это время в Москве правые партии провели грандиозный погром, но вернувшийся в московское небо корабль держит всю столицу в страхе, подвергая город «точечным» бомбардировкам. Правительство усиливает пресс репрессий, арестовывая и заключая в подземные камеры по простому подозрению: «Говорили о... военно-полевых судах, совершающихся при помощи беспроводного телефона, аппарат которого приносился в камеру заключенного. Ни он, ни суды не видели друг друга. В ту же камеру пускался потом сильный электрический ток, — и смерть осужденного следовала мгновенно и неожиданно для него самого». В тюрьме теперь даже не допрашивают: «практика убедила и полицию, и следователей в полной безуспешности всякого допроса». Вскоре правительственные репрессии стали страшнее террора «Анархии»; «невидимые судилища» получили прозвище «коллегии плачей». Автор с омерзением отзыается о людях, лояльных режиму: «Только рептилии восхваляли эти меры и требовали массовых и публичных казней. Вновь рекомендовалась пытка, застенок и сжигание на кострах» [см.: Там же, 88, 119, 120, 134].

Деятели режима вынуждены обитать под землей. Ситуация в стране становится катастрофической: «Жизнь замерла, но вести распространялись с непонятной быстротой. Стало известно о назначении премьера диктатором, ждали указа о мобилизации армии. Почти все государственные учреждения были переведены в Финляндию, а государственное казначейство перебралось еще дальше — в Англию, и русские кредитные билеты печатались на английских станках. Сибирь, Кавказ, Крым и Польша отделились и образовали отдельные республики; Новгород и Псков вспомнили про древнее вечевое устройство, образовав вольные города, а Царевококшайск, в котором властью завладел исправник, объявил себя великим княжеством. Великий князь царевококшайский потребовал себе присяги, но на другой день был убит своим письмоводителем, и Царевококшайск присоединился к России.

Диктатору было много забот; он с трудом мог бороться против надвигающейся анархии, так как ему самому пришлось уехать в Финляндию» [Там же, 141].

Правительство «с величайшим трудом» строит собственный аэроплан, получивший название «Генерал-адъютант Куропаткин», который погиб в воздушном сражении с «Анархией» на глазах у тысяч людей, высыпавших на улицы [см.: Там же, 142, 152]. Правительство ответило новыми облавами, арестами и казнями и принялось готовить целый воздушный флот для борьбы с «Анархией». Люди начинают ждать появления воздушного корабля анархистов «с нетерпением, потому что тогда затихали репрессии, принимавшие во время передышек эпидемический характер». В городе начался голод, «хотя анархисты через свои коммуны заботились о голодающих». Тем временем анархисты, социалисты-революционеры и социал-демократы создали объединенный политический блок, целью которого стали освобождение заключенных, а затем — всеобщее вооруженное восстание. Эсеры выступили с предложением «предоставления анархистам свободных земель в Сибири. Пусть образовывают там свои коммуны: Сибирь нуждается в колонизации. Можно, конечно, дать Туркестанский край или Север. Существует же в Атлантическом океане Карлосия». Эсеры же сформулировали в голодной Москве определение свободы: «Свобода — это мягкий бифштекс с хорошо поджаренным картофелем, который я ем в полной уверенности, что за дверьми не стоит околоточный, а по улице не шагает патруль с заряженными ружьями!» В это время правительственный террор достигает высшей точки: «городовой, вооруженный электрическим пистолетом, являлся хозяином жизни любого человека» [Морской, 170—176, 178].

Метафоричность в романе достигает своего пика: «Ветер яростными порывами налетал на молчаливую Москву, утонувшую в мутной мгле, в которой медленно скользил падавший сверху луч прожектора невидимой «Анархии». Он рассекал эту мглу, точно огненный меч сатаны, опущенный на нечистую землю, зловеще холодный и неотразимый» [Там же, 177]. Правительство, в свою очередь, опасалось, что «военные команды, беспрекословно употреблявшие в дело оружие против анархистов, откажутся поднять его против социал-демократов и всемирного рабочего союза» [Там же, 191].

Лидер анархистов признается, что правительственные силы еще держатся только благодаря своей беспомощности в борьбе с «Анархией»: «Действуя энергично, я мог бы в неделю превра-

тить в развалины и Москву, и Петербург. Но это будет». «Путь к грядущей свободе готовился по развалинам, политым человеческой кровью. И над обезумевшей Москвой величественно и спокойно царила в воздухе неотразимая, как смерть, "Анархия". Она не принимала участия в побоище, не становясь на сторону революционеров. но другая борющаяся сторона видела в "Анархии" врага, и эта очевидная опасность отвлекла в сторону часть ее внимания и сил» [Там же, 209]. Эсеры установили контроль над Москвой: «в Кремль торжественно въехал новый президент, или диктатор. Теперь в России два диктатора: один — правительственный, а другой революционный. То есть теперь для Москвы последний-то и есть правительственный» [Там же, 221]. Анархистам удалось потеснить социалистов-революционеров — и не только в Москве. Они распространяли свою власть почти на всю Россию; «в руках правительства оставалась только северная часть России и область, примыкавшая к Петербургу. Эту область охранял воздушный флот аэропланов, не осмеливающийся, однако, дать бой "Анархии"». Сам же Дикгоф пока не решается атаковать Петербург: он слишком занят «устройством сети новых коммун и борьбою с внутренними препятствиями, и если с заговорами против его диктатуры в среде анархистов ему удавалось справляться, то куда более грозной была поднявшаяся крестьянская война: крестьяне хотели земли и воли и на дело анархистов смотрели как на сумасшествие горожан, до которых у них самих не было дела. Грозная крестьянская война одинаково была опасна и правительству, и анархистам» [Морской, 229, 230]. Анархистские манифесты лишь подчеркивали резкий контраст между крестьянскими чаяниями и анархистским идеалом.

Однако читателю так и не удается узнать, какое же будущее ожидает Россию: автор, словно внезапно устав, сворачивает повествование в две страницы. «Анархию» взрывает один из инженеров, не смирившихся с режимом Дикгофа: гибнут и воздушный корабль, и экипаж, и диктатор. Правительственные войска занимают Москву, которая «представляла из себя кучи развалин, и более чем из миллионного населения в ней осталось не более десяти-пятнадцати тысяч жителей». Победа сил «порядка» оказалась поистине пирровой: «флот аэропланов крейсировал над Россией; начинались дни новой тревоги». Но крестьян это не пугает: «Все утомлены борьбою. Ведь тогда придется выдержать целую крестьянскую войну. Правительство должно пойти на уступки» [Там же, 234].

На чьей же стороне сам автор утопического романа? Он чувствует опасность, исходящую от анархистов; героизируя их, он не воспроизводит сколько-нибудь последовательно идеологию анархокоммунизма: нет ни учения о «трех формах человеческих объединений», ни обоснования исторического пути России к анархии, ни рассуждений о сути великой социальной революции [см.: Бакунин, 1987, 272; 1989, 337, 338, 340–342, 355]. Он воздает должное энергии социалистов-революционеров и констатирует мощь крестьянской массы русской деревни. Кроме того, Ив. Морской явно оппонирует консервативно-монархическим убеждениям (полагая их архаичными); достаточно иронично отзывается о социал-демократах (очевидно, воспринимая их как нечто чуждое России) и без теплоты вскользь упоминает о конституционных демократах (как неспособных справиться с кризисом). Озадаченный читатель вправе воскликнуть: так кто же вы, господин или товарищ Морской?

Политическая ориентация газеты «Утро», в которой появился роман (она издавалась на средства П. П. Рябушинского [см.: Политические партии России, 539]), подсказывает: автор «Анархистов будущего» близок к сторонникам партии мирного обновления, сложившейся на излете краткой истории существования Первой Государственной думы из левых октябристов и правых кадетов (в т. ч. бывших земцев-конституционалистов) — тех умеренных либералов, для которых П. Н. Милюков был слишком лев, а С. Ю. Витте — чересчур прав. Они стремились сформировать некий политический центр, который смог бы нейтрализовать, обуздануть крайние фланги — как силы реакции, так и силы революции. Эти носители либерально-центристских взглядов, сторонники конституционной монархии с двухпалатным парламентом, полагали противоречия в революционном лагере непреодолимыми (левые воюют все и против всех), а потому видели в вооруженных левых радикалах огромную опасность, но вместе с тем опасность преходящую, временную. Анархисты и разделенные на партии социалисты непримиримы друг к другу и тем обрекают организованное крайне левое движение на гибель. Крестьянство, до поры до времени молчаливое, безликое, безымянное, аполитичное, — вот реальный источник угрозы в стране, где не решен (или решен нерационально) земельный вопрос.

Безусловно, подобный роман мог быть написан именно в 1907 г. и никак не раньше (не в 1905 или 1906). Тени красных и черных знамен, материализовавшиеся в период солдатских и матросских мятежей, политических забастовок, баррикадных

боев, продавившие себе дорогу в 1-ю и 2-ю Думы, в 1907 г. словно бы развоплотились, не в силах помешать П. А. Столыпину ни 3 июня, ни позднее. Зато крестьянская масса, угрюмая, озлобленная, неорганизованно взывавшаяся после других недовольств, что она приготовила России? Уж не девятый ли всесокрушающий вал спонтанной, даже животной революции по образцу мухицких бунтов и войн далекого и недавнего прошлого? Русская деревня — как незаживающая, вечно кровоточащая рана — излечима ли она?

Партия мирного обновления пыталась привлечь на свою сторону крестьянских депутатов Государственной думы, предлагая им в качестве своей аграрной программы набор профилактических мер. Таких, например, как наделение землей малоземельных и безземельных крестьян за счет казенных, удельных, кабинетских, монастырских угодий; признание возможности принудительного отчуждения частновладельческих земель; продуманная переселенческая политика; организация дешевого кредита; урегулирование арендных отношений; развитие культуры земледелия. П. А. Гейден, один из основателей партии, полагал, что такая позиция по аграрному вопросу придется крестьянам «по душу» [см.: Политические партии России, 424-425]. Не случайно другой мирнообновленец, Н. Н. Львов, в качестве причины выхода из конституционно-демократической партии указал именно «несогласие с ее аграрной программой» [см.: Съезды и конференции., 503].

Бакунин М. А. Международное тайное общество освобождения человечества // Бакунин М. А. Избр. филос. соч. и письма. М., 1987. С. 258-273.

Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 291-526.

Политические партии России, конец XIX — 1-я треть XX века: Энциклопедия. М., 1996.

Съезды и конференции конституционно-демократической партии, 1905-1920 гг. : в 3 т. Т. 1 : 1905-1907 гг. М., 1997.

(Д. Бугров. Первая русская революция: Свет и тени в зеркале социокультурной утопии // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2009. Т. 65. № 3).

Роман «Анархисты будущего» публикуется по первому
отдельному изданию:

*Морской Ив. Анархисты будущего (Москва через 20 лет): Фан-
тастический роман. М.: Тов. типо-лит. Владимир Чичерин, 1907.*

Какими-либо сведениями об авторе мы не располагаем.

В тексте исправлены наиболее очевидные опечатки, а также ряд
устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

Роман возвращен читателям благодаря господину Н. Н.,
любезно предоставившему нам скан оригинального издания
и пожелавшему остаться анонимным.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.